МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Л. Д. БЛОК

И БЫЛЬ И НЕБЫЛИЦЫ О БЛОКЕ И О СЕБЕ

Воспоминания



Л. Д. Блок

И быль и небылицы о Блоке и о себе

Воспоминания



Москва
Берлин
2019

УДК 82-3
ББК 83.3(2)6
Б70

Блок, *Л. Д.*
Б70 И быль и небылицы о Блоке и о себе : воспоминания / *Л. Д.* Блок. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 86 с.

ISBN 978-5-4475-4827-8

В издание вошли мемуарные записи Любови Дмитриевны Менделеевой-Блок (1881–1939 гг.) – вдовы великого поэта-символиста Александра Блока, дочери известного русского химика Д. И. Менделеева. Воспоминания «И быль, и небылицы о Блоке и о себе» ценны не своим фактографическим материалом. Это, прежде всего, «интимно-психологическая исповедь», в которой разнообразная, долголетняя театральная и литературная деятельность Л. Д. Менделеевой-Блок как-бы отодвинута на второй план. Но в то же время эти воспоминания стали «одним из наиболее авторитетных документов мемуарного фонда русского символизма».

УДК 82-3
ББК 83.3(2)6

ISBN 978-5-4475-4827-8 © Издательство «Директ-Медиа», оформление, 2019

Когда писатель умер, мы болеем о нем не его скорбью. Для него нет больше скорби, как отдаться чужой воле, сломиться.

Ни нужда, ни цензура, ни дружба, ни даже любовь его не ломали, он оставался таким, каким хотел быть. Но вот он беззащитен, он скован землей, на нем лежит камень тяжелый. Всякий критик мерит его на свой аршин и делает таким, каким ему вздумается. Всякий художник рисует, всякий лепит того пошляка или глупца, какой ему по плечу. И говорит – это Пушкин, это Блок. Ложь и клевета! Не Пушкин и не Блок! А впервые покорный жизни, «достоянье доцента», «побежденный лишь роком»[1]...

Мне ль умножать число клеветников! Ремесленным пером говорить о том, что не всегда давалось и гениальному перу? А давно уж твердят, что я должна писать о виденном. Я и сама знаю, что должна – я не только видела, я и смотрела. Но чтобы рассказать виденное, нужна точка зрения, раз виденное воспринималось не пассивно, раз на него смотрела. Годятся ли те прежние точки зрения, с которых смотрела? Нет, они субъективны. Я ждала примиренности, объективности, историзма. Нехорошо в мемуарах сводить счеты со своей жизнью, надо от нее быть уже отрезанным. Такой момент не приходит. Я все еще живу этой своей жизнью, болею болью «незабываемых обид»[2], выбираю любимое и нелюбимое. Если я начну писать искренно, будет совсем не то, что вправе ждать читатель от мемуаров жены Блока. Так было всю жизнь.

«Жена Ал. Ал. и вдруг...!» – они знали, какая я должна быть, потому что они знали, чему равна «функция» в уравнении – поэт и его жена. Но я была не «Функция», я была человек, и я-то часто не знала, чему я равна, тем более чему равна

---

[1] Первая цитата – из стих. Блока «Друзьям», вторая – из стих. Тютчева «Два голоса», одного из наиболее ценимых Блоком.

[2] Из стих. «На смерть младенца», 1909.

«жена поэта» в пресловутом уравнении. Часто бывало, что нулю; и так как я переставала существовать, как функция, я уходила с головой в свое «человеческое» существование.

Упоительные дни, когда идешь по полу развалившимся деревянным мосткам провинциального городка, вдоль забора, за которым в ярком голубом небе набухают уже почки яблонь, залитые ясным солнцем, под оглушительное чириканье воробьев, встречающих с не меньшим восторгом, чем я, эту весну, эти потоки и солнца, и быстрых вод тающего, чистого не по-городскому снега. Освобождение от сумрачного Петербурга, освобождение от его трудностей, от дней, полных неизбывным пробиранием сквозь пути. Легко дышать, и не знаешь, бьется ли твое сердце как угорелое, или вовсе замерло. Свобода, весенний ветер и солнце...

Такие и подобные дни – маяки моей жизни; когда оглядываюсь назад, они заставляют меня мириться со многим мрачным, жестоким и «несправедливым», что уготовила мне жизнь.

Если бы не было этой сжигающей весны 1908 года, не было других моих театральных сезонов, не было в жизни этих и других осколков своеволья и самоутверждения, не показалась ли бы я и вам, читатель, и себе жалкой, угнетенной, выдержал ли бы даже мой несокрушимый оптимизм? Смирись я перед своей судьбой, сложа руки, какой беспомощной развалиной была бы я к началу революции! Где нашла бы я силы встать рядом с Блоком в ту минуту, когда ему так нужна оказалась жизненная опора?

Но какое же дело до меня читателю? С теми же поднятыми недоуменно бровями, которыми всю жизнь встречали меня не «функцию» все «образованные люди» (жена Блока и вдруг играет в Оренбурге?!), встретил бы и всякий читатель, все, что я хотела бы рассказать о своей жизни. Моя жизнь не нужна, о ней меня не спрашивают! Нужна жизнь жены по-

эта, «функция» (умоляю корректора сделать опечатку: фикция!), которая, повторяю, прекрасно известна читателю. Кроме того, читатель прекрасно знает и что такое Блок. Рассказать ему про другого Блока, каким он был в жизни? Во-первых, никто не поверит; во-вторых, все будут прежде всего недовольны – нельзя нарушать установившихся канонов. И я хотела попробовать избрать путь даже как будто и подсказанный самим Блоком; «свято лгать о прошлом...» «я знаю, не вспомнишь ты, святая, зла»... Комфортабельный путь. Комфортабельно чувствовать себя великодушной и всепрощающей. Слишком комфортабельно. И вовсе не по-блоковски. Это было бы в конец предать его собственное отношение и к жизни и к себе, а по мне, и к правде. Или же нужно подняться на такой предел отрешенности и святости, которых человек может достигнуть лишь в предсмертный свой час или в аналогичной ему подвижнической схиме. Может быть, иногда Блок и подымал меня на такую высоту в своих просветленных строках. Может быть, даже и не ждал такой меня в жизни в минуту веры и душевной освобожденности.

Может быть, и во мне были возможности такого пути. Но я вступила на другой, мужественный, фаустовский. На этом пути если чему я и выучилась у Блока, то это беспощадности в правде. Эту беспощадность в правде я считаю, как он, лучшим даром, который я могу нести своим друзьям. Этой же беспощадности хочу я и для себя. Иначе я написать и не смогу, да и не хочу и не для чего.

Но, дорогой читатель, но в Ваших интересах знать, кто пишет и как он берет жизнь? Это необходимо в целях «критических», необходимо, чтобы оценить удельный вес рассказов пишущего. Может быть, и согласуем наши интересы? Дайте мне поговорить и о себе; так вы получите возможность оценить мою повествовательную достоверность.

И еще вот что; я не буду притворяться и скромничать, В сущности ведь всякий, берущийся за перо, тем самым говорит, что он считает себя, свои мысли и чувства интересными и значительными. Жизнь меня поставила, начиная с двадцатилетнего возраста, на второй план, и я этот второй план охотно и отчетливо приняла почти на двадцать лет. Потом, предоставленная самой себе, я постепенно привыкла к самостоятельной мысли, т. е. вернулась к ранней моей молодости, когда я с таким жаром искала своих путей и в мысли, и в искусстве. Теперь между мной и моей юностью нет разрыва, теперь вот тут, за письменным столом, читает и пишет все та же, вернувшаяся из долгих странствий, но не забывшая, не потерявшая огня, вынесенного из отчего дома, умудренная жизнью, состарившаяся, но все та же Л. Д. М., что в юношеских тетрадях Блока. Эта встреча с собой на склоне лет – сладкая отрада. И я люблю себя за эту найденную молодую душу, и эта любовь будет сквозить во всем, что пишу.

Да, я себя очень высоко ценю – с этим читателю придется примириться, если он хочет дочитать до конца; иначе лучше будет бросить сразу. Я люблю себя, я себе нравлюсь, я верю своему уму и своему вкусу. Только в своем обществе я нахожу собеседника, который с должным (с моей точки зрения) увлечением следует за мной по всем извивам, которые находит моя мысль, восхищается теми неожиданностями, которые восхищают и меня, активную, находящую их. Дорогой читатель! Не бросайте в негодовании под стол это наглое хвастовство. Тут есть пожива и для вас. Дело в том, что теперь только, встав смело на ноги, позволив себе и думать и чувствовать самостоятельно, я впервые вижу, как напрасно я смирила и умалила свою мысль перед миром идей Блока, перед его методами и его подходом к жизни. Иначе быть не могло, конечно! В огне его духа, осветившего мне все с такою несоизмеримой со мною силой, я потеряла самоуправление.

Я верила в Блока и не верила в себя, потеряла себя. Это было малодушие, теперь я вижу. Теперь, когда я что-нибудь нахожу в своей душе, в своем уме, что мне нравится самой, я прежде всего горестно восклицаю: «Зачем не могу я отдать это Саше!» Я нахожу в себе вещи, которые ему нравились бы, которые он хвалил бы, которые ему иногда могли бы служить опорой, так как в них есть твердость моего основного качества – неизбывный оптимизм. А оптимизм как раз то, чего так не хватало Блоку! Да, в жизни я, как могла, стремилась оптимизмом свои рассеивать мраки, которым с каким-то ожесточением так охотно он отдавался. Но если бы я больше верила в себя! Если бы я уже тогда начала культивировать свою мысль и находить в ней отчетливые формы, я могла бы отдавать ему не только отдохновительную свою веселость, но и противоядие против мрака мыслей, мрака, принимаемого им за долг перед собой, перед своим призванием поэта. И тут и ошибка его, и самый мой большой в жизни грех. В Блоке был такой же источник радости и света, как и отчаяния и пессимизма. Я не посмела, не сумела против них восстать, противопоставить свое, бороться. Замешалось тут и трудное жизненное обстоятельство: мать на границе психической болезни, но близкая и любимая, тянула Блока в этот мрак. Порвать их близость, разъединить их – это я не могла по чисто женской слабости: быть жестокой, «злоупотребить» молодостью, здоровьем и силой – было бы безобразно, было бы в глазах всех злом. Я недостаточно в себя верила, недостаточно зрело любила в то время Блока, чтобы не убояться. И малодушно дала пребывать своему антагонизму со свекровью в области мелких житейских неувязок. А я должна была вырвать Блока из патологических настроений матери. Должна была это сделать. И не сделала. Из потери себя, из недостатка веры в себя.

Так вот теперь, когда мне остается только возможность рассказать, когда уже все непоправимо, пусть я буду говорить о себе с верой. Все равно, когда я пишу, я как будто все это читаю ему. Я знаю, что ему нравится, и несу ему то, что ему нужно. Читатель! За это вы должны мне многое простить, ко многому прислушаться. Может быть, в этом смысл моих «дерзаний». Пусть это будет новый, окольный способ рассказать о Блоке. И вот еще что приходит мне в голову. Я была по складу души, по способу ощущения и по устремленности мысли другая, чем соратники Блока эпохи русского символизма. Отставала? В том-то и дело, что теперь мне кажется – нет. Мне кажется, что я буду своя в ней и почувствую своей следующую, еще не пришедшую эпоху искусства. Может быть, она уже во Франции. Меньше литературщины, больше веры в смысл каждого искусства, взятого само по себе. Может быть, от символизма меня отделяло все же какая-то нарочитость, правда, предрешенная борьбой с предшествующей эпохой тенденциозности, но был он гораздо менее от этой же тенденциозности свободен, чем того хотел бы, чем должно искусству большой эпохи. Вот о чем я и скорблю: если бы я раньше проснулась (Саша всегда говорил: «Ты все спишь! Ты еще совсем не проснулась...»), раньше привела в порядок свои мысли и поверила в себя как сейчас, я могла бы противопоставить свое затягивающей литературщине и боддлерианству матери. Может быть, он и ждал чего-то от меня, ни за что не желая бросать нашу общую жизнь. Может быть, он и ждал от меня... Но, я чувствую, читатель уже задыхается от негодования: какое самомнение!.. Не самомнение, а привычка. Мы с Блоком так привыкли нести друг другу все хорошее, что находили в душе, узнавали в искусстве, подсматривали у жизни или у природы, что и теперь, найдя какую-то ступеньку, на которую подняться, как вы хотите, чтобы я не старалась нести ее ему? А раз я теперь одна, как могу я не горевать, что это было не раньше?

Но вот еще большая трудность: как убедить читателя, что не цинизм заставил меня говорить о вещах, о которых говорить не принято, а глубокая уверенность а их решающем жизненном значении?

Я никогда не могу согласиться с тем, что цинично говорить обо всем этом, говорить об этих грозных подводных рифах, о которые корабли разбиваются и тонут... Если до Фрейда еще умудрялись отбрасывать эту сторону жизни, ставить ширмы, затыкать уши, закрывать глаза даже в такой просвещенной среде, как та, в которой я вращалась, то как можно теперь надеяться дать хоть сколько-нибудь правдивый анализ событий, мотивировку их, если мы будем оперировать одной «приличной», показной – висящей в воздухе – «психологией»?

Еще виноваты тут мои чтения – я до сих пор слежу за западной литературой. А западная литература последних лет так приучила читать подробные и неприкрытые анализы самых сокровенных моментов любовной близости, что чувство условной меры уже потеряно. Особенно потому, что пишут так несомненно большие художники (хотя бы прекрасный роман Жюля Ромена), создающие стиль своей эпохи. Не говорить открыто о том, в чем видишь основной двигатель дальнейших событий, уже кажется ханжеством и лицемерием. И я буду говорить о сторонах жизни, о которых говорить не принято, зная почти наверняка, что буду обвинена в цинизме. Но я глубоко убеждена – или вовсе не писать, или писать то, о чем думаешь. В таком случае есть хоть какой-то шанс сказать близкое к правде, т. е. нужное. Если же просеивать сквозь ситечко «приличий» – все шансы за то, что строчишь бесполезную невнятицу.

О день, роковой для Блока и для меня! Как был он прост и ясен! Жаркий, солнечный, июньский день, расцвет московской флоры. До Петрова дня еще далеко, травы стоят еще не

кошенные, благоухают. Благоухает душица, легкими, серыми от цвета колесиками обильно порошащая траву вдоль всей «липовой дорожки», где Блок увидел впервые ту, которая так неотделима для него от жизни родных им обоим холмов и лугов, которая так умела сливаться со своим цветущим окружением. Унести с луга в складках платья запах нежно любимой, тонкой душицы, заменить городскую прическу туго заплетенной «золотой косой девичьей»[3], из горожанки перевоплощаться сразу по приезде в деревню в неотъемлемую часть и леса, и луга, и сада, инстинктивно владеть тактом, уменьем не оскорбить глаз какой-нибудь неуместной тут городской ухваткой или деталью одежды – это все дается только с детства подолгу жившим в деревне, и всем этим шестнадцатилетняя Люба владела в совершенстве, бессознательно, конечно, как, впрочем, и вся семья.

После обеда, который в деревне кончался у нас около двух часов, поднялась я в свою комнату на втором этаже и только что собралась сесть за письмо слышу: рысь верховой лошади, кто-то остановился у ворот, открыл калитку, заводит лошадь и спрашивает у кухни, дома ли Анна Ивановна?[4] Из моего окна ворот и этой части дома не видно; прямо под окном пологая, зеленая железная крыша нижней террасы, справа – разросшийся куст сирени загораживает и ворота, и двор. Меж листьев и ветвей только мелькает. Уже зная, подсознательно, что это «Саша Бекетов», как говорила мама, рассказывая о своих визитах в Шахматове, я подхожу к окну. Меж листьев сирени мелькает белый конь, которого уводят на конюшню, да невидимо внизу звенят по каменному полу террасы быстрые, твердые, решительные шаги. Сердце бьется

---

[3] Из стих. «Тебе, Тебе с иного света».

[4] А. И. Менделеева (Попова) (1860–1942), мать Л. Д. Блок, вторая жена (с 1881) Д. И. Менделеева. См. ее воспоминания о А. А. Блоке в журнале «Всемирная иллюстрация», 1923, № 11.

тяжело и глухо. Предчувствие? Или что? Но эти удары сердца я слышу и сейчас и слышу звонкий шаг входившего в мою жизнь.

Автоматически подхожу к зеркалу, автоматически вижу, что надо надеть что-нибудь другое, мой ситцевый сарафанчик имеет слишком домашний вид. Беру то, что мы так охотно все тогда носили; батистовая английская блузка с туго накрахмаленным стоячим воротничком и манжетами, суконная юбка, кожаный кушак. Моя блузка была розовая, черный маленький галстух, черная юбка, туфли кожаные коричневые, на низких каблуках. (Ни зонтика, ни шляпы в сад я не брала, только легкий белый зонтик). Входит Муся, моя насмешница младшая сестра[5], любимым занятием которой было в то время потешаться над моими заботами о наружности: «Mademoiselle велит тебе идти в Colonie, она туда пошла с Шахматовским Сашей. Нос напудри!» Я не сержусь на этот раз, я сосредоточена.

Colonie – это в конце липовой аллеи наши бывшие детские садики, которые мы разводили во главе с Mademoiselle, не меньше нас любившей и деревню, и землю. Говорят, липовая аллея цела и посейчас, разросшаяся и тенистая. В те годы липки были молодые (недавно, лет десять назад посаженные, еще редкие), подстриженные, не затенявшие целиком залитую солнцем дорожку. На полпути к Colonie деревянная скамейка лицом к солнцу и виду на соседние холмы и дали. Дали – краса нашего пейзажа. Подходя немного сзади через березовую рощицы вижу, что на этой скамейке Mademoiselle «занимает разговорами» сидящего спиной ко мне. Вижу, что он одет в городской темный костюм, на голове мягкая шляпа. Это сразу меня как-то отчуждает: все молодые, которых я знаю, в форменном платье. Гимназисты, студенты, лицеисты, кадеты, юнкера, офицеры. Штатский?

---

[5] Менделеева (Кузьмина), Мария Дмитриевна (1886–1952).

Это что-то не мое, это из другой жизни, или он уже «старый». Да и лицо мне не нравится, когда мы поздоровались. Холодом овеяны светлые глаза с бледными ресницами, не оттененные слабо намеченными бровями. У всех у нас ресницы темные, брови отчетливые, взгляд живой, непосредственный. Тщательно выбритое лицо придавало человеку в то время «актерский» вид – интересно, но не наше. Так, как с кем-то далеким, повела я разговор, сейчас же о театре, возможных спектаклях. Блок и держал себя в то время очень «под актера», говорил не скоро и отчетливо, аффектированно курил, смотрел на нас как-то свысока, откидывая голову, опуская веки. Если не говорили о театре, о спектакле, болтал Глупости, часто с явным намерением нас смутить чем-то не очень нам понятным, но от чего мы неизбежно краснели. Мы – это мои кузины Менделеевы, Сара и Лида[6], их подруга Юля Кузьмина и я. Блок очень много цитировал в то время Козьму Пруткова[7], целые его анекдоты, которые можно иногда понять и двусмысленно, что я уразумела, конечно, значительно позднее. У него в то время была еще любимая прибаутка, которую он вставлял при всяком случае: «O yes, my kind!» А так как это обращалось иногда и прямо к тебе, то и смущало некорректностью, на которую было неизвестно, как реагировать.

В первый же этот день кузины пришли вскоре, проводили время вместе, условились о спектаклях, играли в «хальму» и крокет. Пошли в парк к Смирновым, нашим родным[8], это была громадная семья – от взрослых барышень и студентов

---

[6] Серафима Дмитриевна и Лидия Дмитриевна, внучки Д. И. Менделеева.

[7] Как известно, с К. Пруткова начались (1 июня 1896) шахматовские спектакли.

[8] Семья археолога, историка искусства Якова Ивановича Смирнова (1869–1918), с 1898 – старшего хранителя отдела средних веков в Эрмитаже, с 1917 – академика.

до детей. Играли все вместе в «пятнашки», в горелки. Тут Блок стал другой, вдруг свой и простой, бегал и хохотал как и все мы, дети и взрослые.

В первые два-три приезда выходило так, что Блок больше обращал внимания на Лиду и Юлию Кузьмину. Они умели ловко болтать и легко кокетничать, и без труда попали в тон, который он вносил в разговор. Обе очень хорошенькие и веселые, они вызывали мою зависть... Я была очень неумела в болтовне и в ту пору была в отчаянии от своей наружности. С ревности и началось.

Что было мне нужно? Почему мне захотелось внимания человека, который мне вовсе не нравился и был мне далек, которого я в то время считала пустым фатом, стоящего по развитию ниже нас, умных и начитанных девушек? Чувственность моя еще совсем не проснулась: поцелуи, объятья – это было где-то далеко-далеко и нереально. Что меня не столько тянуло, сколько толкало к Блоку... «Но то звезды веленье», сказала бы Леонор у Кальдерона[9]. Да, эта точка зрения могла бы выдержать самую свирепую критику, потому что в плане «звезды» все пойдет потом как по маслу: такие совпадения, такие удачи в безнаказанности самых смелых встреч среди бела дня – что и не выдумаешь! Но пока допустим, что Блок, хотя и не воплощал моих девчонкиных байронически-лермонтовских идеалов героя, был все же и наружностью много интереснее всех моих знакомых, был талантливым актером (в то время ни о чем другом, о стихах тем более, еще и речи не было), был фатоватым, но ловким «кавалером» и дразнил какой-то непонятной, своей мужской, неведомой опытностью (это что? кажется из Толстого?) в жизни, которая не чувствовалась ни в моих бородатых двоюродных братьях, ни в милом и симпатичном Суме[10], репетиторе брата.

---

[9] «El medico de su honra».

[10] Сум, Николай Эммануилович (1879–1926), студент, впослед-

Так или иначе, «звезда» или не «звезда», очень скоро я стала ревновать и всеми внутренними своими «флюидами» притягивать внимание Блока к себе. С внешней стороны я, по-видимому, была крайне сдержанна и холодна – Блок всегда это потом и говорил мне и писал. Но внутренняя активность моя не пропала даром, и опять-таки очень скоро я стала уже с испугом замечать, что Блок, да, положительно, перешел ко мне, и уже это он окружает меня кольцом внимания. Но как все это было не только не сказано, как все это было замкнуто, не видно, укрыто! Всегда можно сомневаться: да или нет? Кажется, или так и есть?

Чем говорили? Как давали друг другу знак? Ведь в этот период никогда мы не бывали вдвоем, всегда или среди всей нашей многолюдной молодежи, или по крайней мере в присутствии Mademoiselle, сестры, братьев.

Говорить взглядом мне и в голову не могло прийти: мне казалось бы это даже больше, чем слова, и во много раз страшнее. Я смотрела всегда только внешне-светски и при первой попытке встретить по-другому мой взгляд уклоняла его. Вероятно, это и производило впечатление холодности и равнодушия.

«Нет конца лесным тропинкам»... – это в Церковном лесу, куда направлялись почти все наши прогулки. Лес этот – сказочный, в то время еще не тронутый топором. Вековые ели клонят шатрами седые ветви: длинные седые бороды мхов свисают до земли. Непролазные чащи можжевельника, бересклета, волчьих ягод, папоротника, местами земля покрыта ковром опавшей хвои, местами – заросли крупных и темнолистых, как нигде, ландышей. «Тропинка вьется, вот-вот потеряется...», «Нет конца лесным тропинкам...»

ствии профессор химии и химической технологии.

Мы все любили Церковный лес, а мы с Блоком особенно. Тут бывало подобие прогулки вдвоем. По узкой тропинке нельзя идти гурьбой, вся наша компания растягивалась. Мы «случайно» оказывались рядом в «сказочном лесу» несколько шагов... Это было самое красноречивое в наших встречах.

Даже красноречивее, чем потом – по выходе из леса на луговины соседней Александровки. Дальше – переправа через Белоручей, быстрый, студеный ручей, журчащий и посейчас по разноцветным камушкам. Он неширок, его легко перепрыгнуть, ступив один раз на какой-нибудь торчащий из воды большой валун. Мы всегда это легко проделывали одни. Но Блок опять-таки умудрялся устроиться так, чтобы без невежливости протянуть для переправы руку только мне, предоставляя Суму и братьям помогать другим барышням. Это было торжество, было весело и задорно, но в лесу понятно было большее.

В «сказочном лесу» были первые безмолвные встречи с другим Блоком, который исчезал, как только снова начинал болтать, и которого я узнала лишь три года спустя.

Первый и единственный за эти годы мой более смелый шаг навстречу Блоку был в вечер представления «Гамлета». Мы были уже в костюмах Гамлета и Офелии, в гриме. Я чувствовала себя смелее. Венок, сноп полевых цветов, распущенный напоказ всем плащ золотых волос, падающих ниже колен... Блок в черном берете, колете, со шпагой. Мы сидели за кулисами в полутайне, пока готовили сцену. Помост обрывался. Блок сидел на нем, как на скамье, у моих ног, потому что табурет мой стоял выше, на самом помосте.

Мы говорили о чем-то более личном, чем всегда, а главное, жуткое – я не бежала, я смотрела в глаза, мы были вместе, мы были ближе, чем слова разговора.

Этот, может быть, десятиминутный разговор и был нашим «романом» первых лет встречи, поверх «актера», поверх вымуштрованной «барышни», в стране черных плащей, шпаг и беретов, в стране безумной Офелии, склоненной над потоком, где ей суждено погибнуть.

Этот разговор и остался для меня реальной связью с Блоком, когда мы встречались потом в городе – уже совсем в плане «барышни» и «студента». Когдаеще позднее- мы стали отдаляться, когда я стала опять от Блока отчуждаться, считая унизительной свою влюбленность в «холодного фата», я все же говорила себе: «Но ведь было же»…

Был этот разговор и возвращение после него домой. От «театра» – сенного сарая – до дома вниз под горку сквозь совсем молодой березничек, еле в рост человека. Августовская ночь черна в Московской губернии и «звезды были крупными необычно». Как-то так вышло, что еще в костюмах (переодевались дома) мы ушли с Блоком вдвоем в кутерьме после спектакля и очутились вдвоем Офелией и Гамлетом в этой звездной ночи. Мы были еще в мире того разговора и было не страшно, когда прямо перед нами в широком небосводе медленно прочертил путь большой, сияющий голубизной метеор. «И вдруг звезда полночная упала»…

Перед природой, перед ее жизнью и участием в судьбах мы с Блоком, как оказалось потом, дышали одним дыханием. Эта голубая «звезда полночная» сказала все, что не было сказано. Пускай «ответ немел», – «дитя Офелия» и не умела сказать ничего о том, что просияло мгновенно и перед взором и в сердцах.

Даже руки наши не встретились и смотрели мы прямо перед собой. И было нам шестнадцать и семнадцать лет.

ВОСПОМИНАНИЯ О «ГАМЛЕТЕ» 1 АВГУСТА В БОБЛОВЕ

Шахматово,
2 августа посв. *Л. Д. М.*

Тоску и грусть, страданье, самый ад
Все в красоту она преобразила.
Офелия

Я шел во тьме к заботам и веселью
Вверху сверкал незримый мир духов.
За думой вслед лилися трель за трелью
Напевы звонкие пернатых соловьев.
«Зачем дитя Ты?» мысли повторяли.
«Зачем дитя»? мне вторил соловей,
Когда в безмолвном, мрачном, темном зале
Предстала тень Офелии моей.
И бедный Гамлет я был очарован,
Я ждал желанный, сладостный ответ.
Ответ немел, и я в душе взволнован,
Спросил: Офелия, честна ты или нет!?!?
И вдруг звезда полночная упала,
И ум опять ужалила змея,
Я шел во тьме и эхо повторяло;
Зачем дитя Ты, дивная моя.

В дневнике 1918 года запись событий 1898–1901 годов. Тут Саша все перепутал, почти все не на своем месте и не на своей дате. Привожу в порядок, вставляя его абзацы, куда следует.

После Наугейма продолжалась гимназия. «С января (1898) уже начались стихи в изрядном количестве. В них – К. М. С[адовская], мечты о страстях, дружба с Кокой Гуном (уже остывшая), легкая влюбленность в m-me Левицкую – и болезнь... Весной... на выставке (кажется, передвижной), я встретился с Анной Ивановной Менделеевой, которая пригласила меня бывать у них и приехать к ним летом в Боблово по соседству».

«В Шахматове началось со скуки и тоски, насколько помню. Меня почти спровадили в Боблово. («Белый китель»

начался лишь со следующего года, студенческого). Меня занимали разговором в березовой роще Mademoiselle и Любовь Дмитриевна, которая сразу произвела на меня сильное впечатление. Это было, кажется, в начале июня.

Я был франт, говорил изрядные пошлости. Приехали «Менделеевы». В Боблове жил Н. Э. Сум, вихрастый студент (к которому я ревновал). К осени жила Мария Ивановна. Часто бывали Смирновы и жители Стрелицы.

Мы разыграли в сарае... сцены из «Горя от ума» и «Гамлета». Происходила декламация. Я сильно ломался, но был уже страшно влюблен. Сириус и Вега.

«Кажется, этой осенью мы с тетей ездили в Трубицы но, где тетя Соня подарила мне золотой; когда вернулись, бабушка дошивала костюм Гамлета.»

Осенью я шил франтоватый сюртук (студенческий), поступил на юридический факультет, ничего не понимал в юриспруденции (завидовал какому-то болтуну кн. Тенишеву), пробовал зачем-то читать Туна (?), какое-то железнодорожное законодательство в Германии (?) Виделся с m-me С[адовской], вероятно, стал бывать у Качаловых (Н. Н. и О. Л.)

(«К осени»)... По возвращении в Петербург, посещения Забалканского стали сравнительно реже (чем Боблово). Любовь Дмитриевна доучивалась у Шаффе, я увлекался декламацией и сценой (тут бывал у Качаловых) и играл в драматическом кружке, где были присяжный поверенный Троицкий, Тюменев (переводчик «Кольца»), В. В. Пушкарева, а премьером – Берников, он же известный агент департамента полиции Ратаев, что мне сурово поставил однажды на вид мой либеральный однокурсник. Режиссером был – Горский Н. А., а суфлером – бедняга Зайцев, с которым Ратаев обращался хамски.

В декабре этого года я был с Mademoiselle и Любовью Дмитриевной на вечере, устроенном в честь Л. Толстого в Петровском зале (на Конюшенной?).

На одном из спектаклей в зале Павловой, где я под фамилией «Борский» (почему бы?) играл выходную роль банкира в «Горнозаводчике» (во фраке Л. Ф. Кублицкого), присутствовала Любовь Дмитриевна...»

Саша был два года на втором курсе. Верно ли датированы студенческие беспорядки, я не помню.

Далее Саша соединяет два лета в одно – 1899 и 1900. Лето 1899 года, когда по-прежнему в Боблове жили «Менделеевы» (Саша) проходило почти также, как лето 1898 года, с внешней стороны, но не повторялась напряженная атмосфера первого лета и его первой влюбленности /романтика первого лета/.

Играли «Сцену у фонтана», чеховское «Предложение», «Букет» Потапенки.

К лету 1900 года относится: «Я стал ездить в Боблово както реже, и притом должен был ездить в телеге /верхом было не позволено после болезни/.

Помню ночные возвращения шагом, осыпанные светлячками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны (Менделеевы уже не жили в этом году: спектакль организовала моя сестра, писательница Н. Я. Губкина[11], уже с благотворительной целью, и тут мы играли «Горящие письма» Гнедича. Ездил ли к Менделеевым в этот год, не помню).

«К осени (это 1900 год) я, по-видимому, перестал ездить в Боблово (суровость Любови Дмитриевны и телега). Тут я просматривал старый «Северный Вестник», где нашел

[11] Губкина Надежда Яковлевна (1855–1922), под псевдонимом «Капустина» печаталась в «Северном вестнике», автор книги «Семейная хроника и воспоминания о Менделееве», Спб., 1908.

«Зеркала» З. Гиппиус. И с начала петербургского житья у Менделеевых я не бывал, полагая, что это знакомство прекратилось.»

Знакомство с А. В. Гиппиусом относится к весне 1901 года.

К разрыву отношений, произошедшему в 1900 году, осенью, я отнеслась очень равнодушно. Я только что окончила VIII класс гимназии, была принята на Высшие курсы, куда поступила очень пассивно, по совету мамы и в надежде, что звание «курсистки» даст мне большую свободу, чем положение барышни, просто живущей дома и изучающей что-нибудь вроде языков, как тогда было очень принято. Перед началом учебного года мама взяла меня с собой в Париж, на всемирную выставку. Очарование Парижа я ощутила сразу и на всю жизнь. В чем это очарование, никому в точности определить не удается. Оно также неопределимо, как очарование лица какой-нибудь не очень красивой женщины, в улыбке которой тысяча тайн и тысяча красот. Париж – многовековое лицо самого просвещенного, самого переполненного искусством города, от Монмартрской мансарды умирающего Модильяни[12] до золотых зал Лувра. Все это в воздухе его, в линиях набережных и площадей, в переменчивом освещении, в нежном куполе его неба.

В дождь Париж расцветает, словно серая роза...[13]

Это у Волошина хорошо, очень в точку. Но, конечно, мои попытки сказать о Париже еще во много раз слабее, чем все

---

[12] См.: Francis Carco. De Monmartre du Quartier Latin. Paris, 1927 (рус. перевод – Л., 1927).

[13] М. Волошин. Париж. (Из цикла «Минуты прозрений») – «Северные цветы ассирийские. Альманах книгоиздательства „Скорпион“», М., 1905.

прочие. Когда мне подмигивали в ответ на мое признание в любви к Парижу, «Ну да! Бульвары, модные магазины, кабачки на Монмартре! Хе-хе!...» – это было так мимо, что и не задевало обидой. Потом, в книгах я встречала ту же любовь к Парижу, но никогда хорошо в слово не уложившуюся. Потому что тут дело не только в искусстве, мысли или вообще интенсивности творческой энергии, а еще в чем-то многом другом. Но как его сказать? Если слову «вкус» придавать очень, очень большое значение, как мой брат Менделеев[14], который считал: неоспоримые преимущества французских математиков коренятся в том, что их формулы и вычисления всегда овеяны прежде всего вкусом, то и говоря о Париже, уместно было бы это слово. Но при условии полной договоренности с читателем и уверенности, что не будет подсунуто бытовое значение этого слова.

Я вернулась влюбленной в Париж, напоенная впечатлениями искусства, но и сильно увлеченная пестрой выставочной жизнью. И, конечно, очень, очень хорошо одетая во всякие парижские прелести. Денег у нас с мамой, как всегда, было не очень много, сейчас я не могу даже приблизительно вспомнить каких-нибудь цифр; но мы решительно поселились в маленьком бедном отельчике Мадлэны (rue Vignon, Hotel Vignon), таком старозаветном, что когда мы возвращались откуда-нибудь вечером, портье давал нам по подсвечнику с зажженной свечей, как у Бальзака! А на крутой лестнице и в узких коридорах везде было темно. Зато мы могли видеть все, что хотели, накупили много всяких столь отличных от всего не парижского мелочей и сшили у хорошей портнихи по «визитному платью». Т. е. тип того платья, в котором в Петербурге бывали в театре, в концертах и т. д. Мамино было черное, тончайшее суконное, мое такое же, но «blue pastel»,

[14] Менделеев, Иван Дмитриевич (1883–1936), старший сын Менделеева от второго брака, физик и философ.

как называла портниха. Это – очень матовый, приглушенный голубой цвет, чуть зеленоватый, чуть сероватый, ни светлый, ни темный. Лучше подобрать и нельзя было к моим волосам и цвету лица, которые так выигрывали, что раз в театре одна чопорная дама, в негодовании глядя на меня, нарочно громко сказала: «Боже, как намазана! А такая еще молоденькая!» А я была едва-едва напудрена. Платье жило у меня до осени 1902 года, когда оно участвовало в важных событиях.

Хоть я и поступила на курсы не очень убежденно, но с первых же шагов увлеклась многими лекциями и профессорами, слушала не только свой 1 курс, но и на старших. Платонов, Шляпкин, Ростовцев[15] каждый по-разному открывали научные перспективы, которые пленяли меня скорее романтически, художественно, чем строго научно. Рассказы Платонова, его аргументация была сдержанно пламенна, его слушали, затаив дыхание. Шляпкин, наоборот, так фамильярно чувствовал себя со всяким писателем, о ком говорил, во всякой эпохе, что в этом была своеобразная прелесть, эпоха становилась знакомой, не книжной. Ростовцев был красноре-

---

[15] Платонов, Сергей Федорович (1860–1933), крупнейший специалист по русской истории, с 1899 – профессор Петербургского университета, в 1920–1931 – академик, в 1925–1929 – директор Пушкинского дома. Умер в ссылке в Самаре.

Шляпкин, Илья Александрович (1858–1918) – литературовед, историк. Приват-доцент, с 1901 – профессор Петербургского университета, с 1890 по 1913 преподавал на Бестужевских курсах. У него специализировался по русской литературе Блок в годы учебы в университете. См.: А. Громов. Студенческие годы (Памяти Блока) – альм. «Стожары», Пб., 1923, кн. 3.

Ростовцев, Михаил Иванович (1870–1952), всемирно известный историк, археолог. С 1898 г. приват-доцент, в 1901–1918 – профессор Петербургского университета. Участник ивановских «сред». С 1918 – в эмиграции, с 1925 – профессор древней истории и классической филологии в Йельском университете.

чив, несмотря на то, что картавил, и его «пегиоды, базы, этапы» выслушивались с легкостью благодаря интенсивной, громкой, внедряющейся речи. Но кем я увлекалась целиком это А. И. Введенским[16]. Тут мои запросы нашли настоящую пищу. Неокритицизм помог найти место для всех моих мыслей, освободил всегда живущую во мне веру, и указал границы «достоверного познания» и его ценность. Все это было мне очень нужно, всем этим я мучилась. Я слушала лекции и старших курсов по философии и с увлечением занималась и своим курсом, психологией, так как меня очень забавляла возможность свести «психологию» (!) к экспериментальным мелочам.

Я познакомилась со многими курсистками, пробовала входить даже в общественную жизнь, была сборщицей каких-то курсовых взносов. Но из этого ничего не вышло, так как я не умела эти сборы выжимать, а мне никто ничего не платил. Бывала с увлечением на всех студенческих концертах в Дворянском собрании, ходила в маленький зал при артистической, где студенты в виде невинного «протеста» и «нарушения порядка» пели «Из страны-страны далекой» «расходились» по очень вежливым увещеваниям пристава. На курсовом концерте была в числе «устроительниц» по «артистической», ездила в карете за Озаровским и еще кем-то, причем моя обязанность была только сидеть в карете; а бегал по лестницам приставленный к этому делу студент, такой же театрал, как и я. В артистической я благоговела и блаженство-

---

[16] Введенский, Александр Иванович (1856–1925) – философ-неокантианец, профессор Петербургского университета с 1890, председатель Петербургского философского общества. С 1889 преподавал на Бестужевских курсах логику, психологию и историю философии. Его «Философские очерки» упомянуты в списке литературы, составленном Блоком в июле 1902 г. (ЗК, 32).

вала, находясь в одном обществе с Мичуриной[17] во французских «академических альманахах», только что полученных. Тут же Тартаков (всегда и везде!), Потоцкая, Куза, Долина[18]. Быстро отделавшись от обязанностей, шла слушать концерт, стоя где-нибудь у колонны, с моими новыми подругами-курсистками Зиной Лицевой, потом Шурой Никитиной.

Надо сказать, что уровень исполнителей был очень высок. Голоса певцов и певиц – береженые, холостые, чистые, точные, звучные. Артисты – элегантные, не ленящиеся давать свой максимум перед этой студенческой молодежью, столь нужной для успехов. Выступления, например, Озаровского – это какие-то музейные образцы эстрадного чтения, хранящиеся в моем воспоминании. Отшлифованность ювелирная, умеренность, точность задания и выполнения и безошибочное знание слушателя и способов воздействия на него. Репертуар – легкий, даже «легчайший», вроде «Как влюбляются от сливы», но исполнение воистину академическое, веселье зрителей и успех – безграничные.

После концерта начинались танцы в зале, и продолжались прогулки в боковых помещениях среди пестрых киосков с шампанским и цветами. Мы не любили танцевать в тесноте, переходили от группы к группе, разговаривали и веселились, хотя бывшие с нами кавалеры-студенты были так незначительны, что я их даже плохо помню.

---

[17] Мичурина-Самойлова, Вера Аркадьевна (1866–1948), актриса, в Александрийском театре дебютировала в 1886 г.

[18] Тартаков, Иоаким Викторович (1860–1923) – оперный певец, 1894–1923 – солист, 1909–1923 – главный режиссер Мариинского театра. Потоцкая, Мария Алексеевна (1861—1940), в 1892–1929 актриса Александрийского театра. Долина (Горленко-Долина), Мария Ивановна (1868–1919) – оперная певица, в 1886–1904 выступала в Мариинском театре. Куза Валентина Ивановна (1868–1910) – оперная актриса, с 1894 – в Мариинском театре.

Бывала я и у провинциальных курсисток, на вечеринках в тесных студенческих комнатках, реминисценции каких-то шестидесятых годов, не очень удачные. И рассуждали, и пели студенческие песни, но охотнее слушали учеников консерватории, игравших или певших «Пою тебе, бог Гименея...» и очень умеренно и скромно флиртовали с белобрысыми провинциалами-технологами или горняками.

Так шла моя зима до марта. О Блоке я вспоминала с досадой. Я помню, что в моем дневнике, погибшем в Шахматове, были очень резкие фразы на его счет, вроде того, что «мне стыдно вспоминать свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами»... Я считала себя освободившейся.

Но в марте около Курсов промелькнул где-то его профиль – он думал, что я не видела его. Эта встреча меня перебудоражила. Почему с приходом солнечной, ясной весны опять образ Блока? А когда мы оказались рядом на спектакле Сальвини, причем его билет был даже рядом со мной, а не с мамой (мы уже сидели), когда он подошел, поздоровался, даже до того, как были сказаны первые фразы, я с молниеносной быстротой почувствовала, что это уже совсем другой Блок. Проще, мягче, серьезный, благодаря этому похорошевший (Блоку вовсе не шел задорный тон и бесшабашный вид). В обращении со мной почти не скрываемая почтительная нежность и покорность, а все фразы, все разговоры – такие серьезные; словом, от того Блока, который уже третий год писал стихи и которого от нас он до сих пор скрывал.

Посещения возобновились сами собой, и тут сложился их тип на два года. Блок разговаривал с мамой, которая была в молодости очень остроумной и живой собеседницей, любившей поспорить, пусть зачастую и очень парадоксально. Он говорил о своих чтениях, о взглядах на искусство, о том новом, что зарождалось в живописи и литературе. Мама с азартом спорила. Я сидела и молчала, и знала, что все это го-

ворится для меня, что убеждает он меня, что вводит в этот открывшийся ему и любимый мир. Это за чайным столом, в столовой. Потом уходили в гостиную, и Блок мелодекламировал «В стране лучей» А. Толстого под Quasi una fantasia или что-нибудь из того, что было в грудах нот, которые мама всегда покупала.

Мне теперь нравилась его наружность. Отсутствие напряженности, надуманности в лице приближало черты к статуарности, глаза темнели от сосредоточенности и мысли. Прекрасно сшитый военным портным студенческий сюртук красивым, стройным силуэтом условных жестких линий вырисовывался в свете лампы у рояля в то время, как Блок читал, положив одну руку на золотой стул, заваленный нотами, другую за борт сюртука. Только, конечно, не так ясно и отчетливо все это было передо мной, как теперь. Теперь я научилась остро смотреть на все окружающее меня – и предметы, и людей, и природу. Так же отчетливо вижу и в прошлом. Тогда все было в дымке. Вечно перед глазами какой-то «романтический туман». Тем более Блок и окружающие его предметы и пространство. Он волновал и тревожил меня; в упор его рассматривать я не решалась и не могла.

Но ведь это и есть то кольцо огней и клубящихся паров вокруг Брунгильды, которое потом было так понятно на спектаклях Мариинского театра. Ведь они не только защищают Валькирию, но и она отделена ими от мира и от своего героя, видит его сквозь эту огненно-туманную завесу.

В те вечера я сидела в другом конце гостиной на диване, в полутьме стоячей лампы. Дома я бывала одета в черную суконную юбку и шелковую светлую блузку, из привезенных из Парижа. Прическу носила высокую – волосы завиты, лежат тяжелым ореолом вокруг лица и скручены на макушке в тугой узел. Я очень любила духи – более, чем полагалось барышне. В то время у меня были очень крепкие «Coeur de Jeannette». Была по-прежнему молчалива, болтать так и не

выучилась, а говорить любила всю жизнь только вдвоем, не в обществе.

В это время собеседниками для серьезных разговоров были у меня брат мой Ваня, его друг Розвадовский и особенно его сестра Маня, учившаяся в ту зиму живописи у Щербиновского[19], очень в вопросах искусства продвинутая. В разговорах с ней я научилась многому, от нее узнала Бодлера (почему-то «Une charogne»!), но особенно научилась более серьезному подходу к живописи, чем царившее дома передвижничество, впрочем, давно инстинктивно мне чуждое. Живописи я много насмотрелась в Париже вплоть до крайностей скандинавских «символистов», очень упрощавших задание, сводивших его к сухой умственной формуле, но помогавших оторваться от веры в элементарные, бытовые формы. Что я читала в эту зиму, точно не помню. Русская литература была с жадностью вся проглочена еще в гимназии. Кажется, в эту зиму все читали «Так говорил Заратустра». Думаю, что в эту зиму я и читала французов, для гимназистки запретный плод: Мопассан, Бурже, Золя, Лоти, Доде, Марсель Прево, за которого хваталась с жадностью, как за приоткрывшего по-прежнему неведомые «тайны жизни». Но вот уж верная-то истина: «чистому все чисто». Девушка может читать все, что угодно, но если она не знает в точности конкретной физиологии событий, она ничего не понимает и представляет себе невероятную чепуху, это отлично помню. Такую, как я, даже плутоватые подруги в гимназии стеснялись просвещать; и если я и вынесла кой-какие указания из их слов, то основное мое неведение было столь несомненно, что мне и подобным мне они соблаговолили даже как-то дать в руки украденные у братьев порнографические фотографии; «все равно ничего не поймут!», и

[19] Щербиновский Дмитрий Анфимович (1867–1926) – художник, ученик П. П. Чистякова, педагог.

мы действительно ничего не увидели и не поняли, кроме каких-то анатомических «странностей», вовсе не интересных.

Но тут, в эту первую зиму «взрослой», я действительно очень повзрослела. Не только окрепли и уточнились умственные интересы и любовь к искусству. Я стала с нетерпением ждать прихода жизни. У всех моих подруг были серьезные флирты, с поцелуями, с мольбами о гораздо большем. Я одна ходила «дура-дурой», никто мне и руки никогда не поцеловал, никто не ухаживал. Дома у нас из молодежи почти никто не бывал; те, кого я видела у Боткиных[20] на вечерах – это были какие-то отдаленные манекены, нужные в данном случае, не более. Из знакомых студентов, которых я встречала у подруг, я ни на ком не могла остановить внимание и была очень холодна и отчужденна. Боюсь, что они принимали это за подчеркивание разницы в общественном положении, хотя тогда эта мысль мне и в голову не могла прийти. Я не могла бы догадаться, будучи всегда очень демократичной и непосредственной и никогда не ощущая высокого положения отца в нашей семье. Во всяком случае, я ничего не поняла, когда как раз в эту зиму произошел следующий маленький инцидент, теперь мне многое объясняющий. На одном из студенческих вечеров я проводила много времени со студентом-технологом из моей «провинциальной» компании. Мы очень весело болтали, и нам было приятно и весело, он не отходил от меня ни на шаг и отвез меня домой. Я его пригласила прийти к нам как-нибудь. В один из ближайших дней он зашел; я принимала его в нашей большой гостиной, как всех «визитеров». Я помню, он сидел, словно в воду опущенный, быстро ушел и больше я его не видела. Тогда я ничего не подумала и не заинтересовалась причиной исчез-

---

[20] Семья Михаила Петровича Боткина (1839–1914), исторического живописца, жанриста, академика живописи, известного коллекционера, брата знаменитого врача С. П. Боткина.

новения. Теперь думаю: наше положение в обществе казалось гораздо более пышным благодаря казенной квартире, красивой, устроенной мамой обстановке, со многими картинами хороших художников-передвижников в золотых рамах по стенам, более пышным, чем оно казалось нам самим. Мы-то жили очень просто и часто были стеснены в деньгах.

Знакомств с молодежью у меня было мало. Среди людей нашего круга было мало семей со взрослыми молодыми людьми, разве – гимназисты. А многочисленных своих троюродных братьев я как-то всерьез не принимала милые, умные, но какие-то все бородатые «старые студенты».

Правда, мамины знакомства подымались очень высоко. Среди маминых «визитеров» было несколько блестящих молодых людей. Но тут у меня опять общая черта с Блоком: тех, кого он называл впоследствии «подонками», пародирующее название на то, что принято было назвать, напротив того, «сливки общества», и я не принимала всерьез. В те годы за светскими манерами я была неспособна видеть человека, мне казалось, что передо мной – манекен. Так что эти блестящие молодые люди оставались вне моих интересов, это были «мамины гости», я почти никогда и не появлялась в гостиной во время их приходов. До замужества я так и не натолкнулась на круг людей, который был бы мне близок и интересен. Мои студенческие знакомства были, действительно, несколько упрощенного типа.

В этой одинокости жизнь во мне просыпалась. Я ощущала свое проснувшееся молодое тело. Теперь я была уже влюблена в себя, не то что в гимназические годы. Я проводила часы перед зеркалом. Иногда, поздно вечером, когда уже все спали, а я все еще засиделась у туалета, на все лады причесывая или рассыпая волосы, я брала свое бальное платье, надевала его прямо на голое тело и шла в гостиную к большим зеркалам. Закрывала все двери, зажигала большую люстру, пози-

ровала перед зеркалами и досадовала, зачем нельзя так показаться на балу. Потом сбрасывала и платье и долго, долго любовалась собой. Я не была ни спортсменкой, ни деловой женщиной; я была нежной, холеной старинной девушкой. Белизна кожи, не спаленная никаким загаром, сохраняла бархатистость и матовость. Нетренированные мускулы были нежны и гибки. Течение своих линий я находила впоследствии отчасти у Джорджоне, особенно гибкость длинных ног, короткую талию и маленькие, еле расцветающие груди. Хотя Ренессанс не совсем мое, он более трезв и надуман. Мое тело было как-то более пронизано духом, тонким укрытым огнем белого, тепличного, дурманного цветка. Я была очень хороша, я помню, несмотря на далеко не выполненный «канон» античного сложения. Так задолго до Дункан, я уже привыкла к владению своим обнаженным телом, к гармонии его поз, и ощущению его в искусстве, в аналогии с виденной живописью и скульптурой. Не орудие «соблазна» и греха наших бабушек и даже матерей, а лучшее, что я в себе могу знать и видеть, моя связь с красотой мира. Поэтому и встретила Дункан с таким восторгом, как давно прочувствованную и знакомую[21].

Такой была я весной 1901 года. Ждала событий, была влюблена в свое тело и уже требовала у жизни ответа.

И вот пришло «мистическое лето». Встречи наши с Блоком сложились так. Он бывал у нас раза два в неделю. Я всегда угадывала день, когда он приедет: это теперь – верхом на белом коне и в белом студенческом кителе. После обеда в два часа я садилась с книгой на нижней тенистой террасе, всегда с цветком красной вербены в руках, тонкий запах которой особенно любила в то лето. Одевалась я теперь уже не в блузы с юбкой, а в легкие батистовые платья, часто розовые. Од-

---

[21] Айседора Дункан (1878–1927) в России гастролировала в 1904, 1907, 1912 годах. В 1921 году А. Дункан основала в Москве балетную школу.

но было любимое – желтовато-розовое с легким белым узором. Вскоре звякала рысь подков по камням. Блок отдавал своего «Мальчика» около ворот и быстро вбегал на террасу. Так как мы встречались «случайно», я не обязана была никуда уходить, и мы подолгу, часами разговаривали, пока кто-нибудь не придет. Блок был переполнен своим знакомством с «ними», как называли в этих разговорах всех новых, получивших название «символистов». Знакомство пока еще лишь из книг. Он без конца рассказывал, цитировал так легко запоминаемые им стихи, привозил мне книги, даже первый сборник «Северных цветов», который был чуть ли не заветнейшей книгой. Я читала по его указанию первые два романа Мережковского[22], «Вечных спутников», привозил он мне Тютчева, Соловьева, Фета. Говорил Блок в то время очень трудно, в долгих переплетах фраз, ища еще не пойманную мысль. Я следила с напряжением, но уже вошла в этот уклон мысли, уже ощущала, чем «они» берут и меня. Раз как-то я в разгаре разговора спросила: «Но ведь вы же наверно пишете? Вы пишете стихи?» Блок сейчас же подтвердил это, но читать свои стихи не согласился, а в следующий раз привез мне переписанные на четырех страницах листка почтовой бумаги: …, «Servus-Reginae», «Новый блеск излило небо...», «Тихо вечерние тени...». Первые стихи Блока, которые я узнала. Читала их уже одна.

Первое мне было очень понятно и близко; «космизм» – это одна из моих основ. Еще в предыдущее лето, или раньше, я помню, что-то вроде космического экстаза, когда, вот именно, «Тяжелый огнь окутал мирозданье»... После грозы, на закате поднялся сплошной белый туман и над далью, и над селом. Он был пронизан огненными лучами заката – словно

[22] «Смерть богов (Юлиан Отступник)» и «Воскресшие Боги (Леонардо да Винчи)».

все горело. «Тяжелый огнь окутал мирозданье». Я увидела этот первозданный хаос, это «мирозданье» в окно своей комнаты, упала перед окном, впиваясь глазами, впиваясь руками в подоконник в состоянии потрясенности, вероятно очень близком к религиозному экстазу, но без всякой религиозности, даже без бога, лицом к лицу к открывшейся вселенной...

От второго – «Порой слуга – порою милый...» щеки загорались пожаром. Что же – он говорит? Или еще не говорит? Должна я понять или не понять?.. Но последние два – это источник моих мучений следующих месяцев – меня тут нет. Во всяком случае, в таких и подобных стихах я себя не узнавала, не находила, и злая «ревность женщины к искусству», которую принято так порицать, закрадывалась в душу. Но стихи мне пелись и быстро запоминались.

Понемногу я вошла в этот мир, где не то я, не то не я, но где все певуче, все недосказано, где эти прекрасные стихи так или иначе все же идут от меня. Это обиняками, недосказанностями, окольными путями Блок дал мне понять. Я отдалась странной прелести наших отношений. Как будто и любовь, но, в сущности, одни литературные разговоры, стихи, уход от жизни в другую жизнь, в трепет идей, в запевающие образы. Часто, что было в разговорах, в словах, сказанных мне, я находила потом в стихах. И все же порою с горькой усмешкой бросала я мою красную вербену, увядшую, пролившую свой тонкий аромат, так же напрасно, как и этот благоуханный летний день. Никогда не попросил он у меня мою вербену, и никогда не заблудились мы в цветущих кустах...

И вот в июле пришел самый значительный день этого лета. Все наши, все Смирновы собрались ехать пикником в далекий казенный сосновый бор за белыми грибами. Никого не будет, даже и прислуги, останется только папа. Останусь и я, я решила. И заставлю Блока приехать, хотя еще и рано, по ритму его посещений. И должен быть, наконец, разговор. На

меня дулись, что я не еду, я отговаривалась вздорными предлогами. Улучила минуту одиночества и, помню, в столовой, около часов, всеми силами души перенеслась за те семь верст, которые нас разделяли, и сказала ему, чтобы он приехал. В обычный час села на свой стул на террасе с вербеной. И он приехал. Я не удивилась. Это было неизбежно.

Мы стали ходить взад и вперед по липовой аллее нашей первой встречи. И разговор был другой. Блок мне начал говорить о том, что его приглашают ехать в Сибирь, к тетке, он не знает, ехать ли ему и просит меня сказать, что делать; как я скажу, так он и сделает. Это было уже много, я могла уже думать о серьезном желании его дать мне понять об его отношении ко мне. Я отвечала, что сама очень люблю путешествия, люблю узнавать новые места, что ему хорошо поехать, но мне будет жаль, если он уедет, для себя я этого не хотела бы. Ну, значит, он и не поедет. И мы продолжали ходить и дружески разговаривать, чувствуя, что двумя фразами расстояние, разделявшее нас, стремительно сократилось, пали многие преграды.

Жироду, в романе «Белла»[23] говорит, что героев его, в первые две недели их встреч, ничто не тревожило на пути, не встречалось ничего нарушающего гладкое течение жизни и плоскости пейзажа. У нас совсем наоборот: во все поворотные углы нашего пути, да и среди ровных его перегонов, вечно «тревожили» нас «приметы». Никогда не забылся ни Блоком, ни мной мертвый щегленок, лежащий в траве на краю песчаной дорожки, ведущей в липовую аллею, по которой мы ходили, и при каждом повороте яркое пятнышко тревожило душу щемящей нотой обреченной нежности.

Однако этот разговор ничего внешне не изменил. Все продолжалось по-старому. Только усилилось наше само-

---

[23] Русск. перевод – М.-Л., 1927.

ощущение двух заговорщиков. Мы знали то, чего другие не знали. Это было время глухого непонимания надвигающегося нового искусства, в нашей семье, как и везде.

Осенью гостили у нас Лида и Сара Менделеевы. Помню один разговор в столовой, помню, как Блок сидел на подоконнике еще со стеком в руках, в белом кителе, высоких сапогах, и говорил на тему «зеркал», отчасти Гиппиусовых, но и о своем, еще ненаписанном... «И встанет призрак беззаконный, холодной гладью отражен». Говорил, конечно, рассчитывая только на меня. И кузины, и мама, и тетя и отмахивались, и негодовали, и просто хихикали. Мы были с ним в заговоре, в одном, с неведомыми еще никому «ими». Потом кузины говорили, что Блок, конечно, очень повзрослел, развился, но какие странные вещи говорит декадент! Вот словцо, которым долго и вкривь и вкось стремились душить все направо и налево!

Это понимание и любовь к новым идеям и новому искусству мгновенно объединяло в те времена и впервые встретившихся людей, – таких было еще мало. Нас же разговоры «мистического лета» связали к осени очень крепкими узами, надежным доверием, сблизили до понимания друг друга с полуслова, хотя мы и оставались по-прежнему жизненно далеки.

Началась зима, принесшая много перемен. Я стала учиться на курсах М. М. Читау, на Гагаринской.

Влияние Блока усиливалось, так как неожиданно для себя я пришла к некоторой церковности, вовсе мне не свойственной.

Я жила интенсивной духовной жизнью. Закаты того года, столь известные и по стихам Блока, и по Андрею Белому, я переживала ярко. Особенно помню их при возвращении с курсов, через Николаевский мост. Бродить по Петербургу – это и в предыдущую зиму было большой, насыщенной

частью дня. Раз, идя по Садовой, мимо часовни у Спаса на Сенной, я заглянула в открытые двери. Образа, трепет бесчисленных огоньков восковых свечей, припавшие, молящиеся фигуры. Сердце защемило от того, что я вне этого мира, что вне этой древней правды. Никакой Гостиный двор – любимый мираж соблазнов и недоступных фантасмагорий блесков, красок, цветов (денег было мало-мало) – не развлек меня. Я пошла дальше и почти маниакально вошла в Казанский собор. Я не подошла к богатой и нарядной в бриллиантах, чудотворной иконе, залитой светом, а дальше, за колоннами остановилась у другой Казанской, в полутьме с двумя-тремя свечами, перед которой всегда было тихо и пусто. Я опустилась на колени, еще плохо умея молиться. Но потом это стала моя и наша Казанская, к ней же приходила за помощью и после смерти Саши. Однако и тогда, в первый раз пришли облегчающие, успокоительные слезы. Потом, когда я рассказывала, Саша написал:

Медленно в двери церковные
Шла я душой несвободная...
Слышались песни любовные,
Толпы молились народные.
Или в минуту безверия
Он мне послал облегчение?
Часто в церковные двери я
Ныне вхожу без сомнения.
И бесконечно глубокие
Мысли растут и желания,
Вижу я небо далекое
Слышу я Божье дыхание.
Падают розы вечерние,
Падают тихо, медлительно.
Я же молюсь суевернее,
Плачу и каюсь мучительно.

Я стала приходить в собор к моей Казанской и ставить ей восковую свечку. Ученица А. И. Введенского понимала, к счастью, что «бедный обряд» или величайшие порывы человеческого ума равно и малы и ценны перед лицом непостижимого рациональному познанию. Но у меня не было потребности ни быть при церковной службе, ни служить молебна. Смириться до посредничества священника я никогда не могла, кроме нескольких месяцев после смерти Саши, когда мне казалось менее кощунственно отслужить на его могиле панихиду, чем предаваться своей индивидуалистической «красивой скорби».

В сумерки октябрьского дня (17 октября) я шла по Невскому к Собору и встретила Блока. Мы пошли рядом. Я рассказала, куда иду и как все это вышло. Позволила идти с собой. Мы сидели в стемневшем уже соборе на каменной скамье под окном, близ моей Казанской. То, что мы тут вместе, это было больше всякого объяснения. Мне казалось, что я явно отдаю свою душу, открываю доступ к себе.

Так начались соборы, сначала Казанский, потом и Исаакиевский. Блок много и напряженно писал в эти месяцы. Встречи наши на улице продолжались. Мы все еще делали вид, что они случайны. Но часто после Читау мы шли вместе далекий путь и много говорили. Все о том же. Много о его стихах. Уже ясно было, что связаны они со мной. Говорил Блок мне и о Соловьеве, и о душе мира, и о Софье Петровне Хитрово[24], и о «Трех свиданиях»[25] и обо мне, ставя меня на непонятную мне высоту. Много – о стихотворной сущности стиха, о двойственности ритма, в стихе живущего:

---

[24] Племянница графини С. А. Толстой (жены А. К. Толстого), знакомая Вл. Соловьева.

[25] Поэма Вл. Соловьева.

...И к Мидианке/ на колени
Склоняю/ праздную/ главу...

или

И к Мидианке на колени
Склоняю/ праздную главу...[26]

Раз, переходя Введенский мостик, у Обуховской больницы, спросил Блок меня, что я думаю о его стихах. Я отвечала ему, что я думаю, что он поэт не меньше Фета. Это было для нас громадно. Фет был через каждые два слова. Мы были взволнованы оба, когда я это сказала, потому что в ту пору мы ничего не болтали зря. Каждое слово и говорилось и слушалось со всей ответственностью.

Прибавились встречи у Боткиных, наших старинных знакомых. М. П. Боткин, художник, друг отца, а Екатерина Никитична дружила с мамой. Три дочери, мои сверстницы, и мальчик, и девочка – младшие. Очаровательные люди и очаровательный дом. Боткины жили в своем особняке на углу набережной и 18 линии Васильевского Острова. Сверху донизу это был не дом, а музей, содержащий знаменитую боткинскую коллекцию итальянского искусства эпохи Возрождения. Лестница, ведшая во второй этаж в зал, была обведена старинной резной деревянной панелью, ступени покрыты красным толстым ковром, в котором тонула нога. Зал также весь со старым резным орехом. Мебель такая же, картины, громадные пальмы, два рояля. Все дочери – серьезные музыкантши. В зале никогда не было слишком светло, даже во время балов – это мне особенно нравилось. Зато гостиная ря-

[26] Стих. Вл. Соловьева «Неопалимая купина» (1891). Строки эти взяты эпиграфом к стих. Блока «Через песчаные пустыни».

дом утопала и в свете, и в блестящем серебристом шелке мягкой мебели. И главная ее краса – зеркальное окно, не закрываемое портьерой, и вечером – с одним из самых красивых видов на Петербург, Неву, Исаакий, мосты, огни. В этой гостиной, в зиму 1901 года сестры Боткины устраивали чтения на разные литературные темы; одной из тем были, я помню, философические письма Чаадаева, кажется еще не очень в те времена цензурные, во всяком случае, мало известные. Лиля Боткина была со мной на курсах. До того мы дружили сначала по-детски, потом я стала бывать у них гимназисткой на балах – самые светские мои воспоминания – эти их балы. Круг знакомых их был очень обширен, было много военных, были очень светские люди. Бывал молодой Сомов[27], который пел старинные итальянские арии. Бывал В. В. Максимов – еще правовед Самусь[28]. Много музыкантов, художники. И мать и все три дочери были очень похожи и очаровательны общим им семейным шармом. Очень высокие и крупные, с русской красотой, мягкой, приветливой, ласковой манерой принимать и общим им всем своеобразным певучим говором, они создавали атмосферу такого радушия, так умели казаться заинтересованными собеседниками, что всегда были окружены многочисленными друзьями и поклонниками.

Зная о моей дружбе с Блоком, Екатерина Никитична просила меня передать ему приглашение сначала на бал, куда он не пошел, потом на чтения, где он бывал несколько раз.

---

[27] Константин Андреевич Сомов (1869–1939), художник, участник «Мира искусств», с 1913 « академик, с 1923 жил во Франции.

[28] Максимов (настоящая фамилия – Самусь), Владимир Васильевич (1880–1937), ученик петербургского училища правоведения, впоследствии известный артист, в 1904 работал в НХТ, в 1906–1918 – в Московском Малом театре, в 1919–1924 в Ленинградском Большом драматическом театре.

Привожу письмо, ярко рисующее нашу внешнюю отдаленность при такой уже внутренней близости, которая была в ту зиму.

«29-го ноября. M-me Боткина опять поручила мне, Александр Александрович, передать Вам ее приглашение; только теперь уже не на бал, а на их чтения, о которых я Вам говорила. Екатерина Никитична просит Вас быть у них сегодня часов в восемь. Надеюсь, на этот раз исполню ее поручение лучше, чем в прошлый. Л. Менделеева.»

И ответ:

«Многоуважаемая Любовь Дмитриевна. Благодарю Вас очень за Ваше сообщение, непременно буду сегодня у Боткиных, если только не спутаю адреса. Глубоко преданный Вам Ал. Блок. 29-XI.1901 – СПБ».

Вот каков был внешний обиход!

От Боткиных провожал меня на извозчике Блок. Это было не совсем строго корректно, но курсистке все же было можно. Помню, какими крохами я тешила свои женские претензии. Был страшный мороз. Мы ехали на санях. Я была в теплой меховой ротонде. Блок, как полагалось, придерживал меня правой рукой за талию. Я знала, что студенческие шинели холодные и попросту попросила его взять и спрятать руку. «Я боюсь, что она замерзнет». «Она психологически не замерзнет». Этот ответ, более «земной», так был отраден, что врезался навсегда в память.

И тем не менее в январе (29-го) я с Блоком порвала. У меня сохранилось письмо, которое я приготовила и носила с собой, чтобы передать при первой встрече, но передать не решилась, так как все же это была бы я, которая сказала бы первые ясные слова, а моя сдержанность и гордость удержи-

вали меня в последнюю минуту. Я просто встретила его с холодным и отчужденным лицом, когда он подошел ко мне на Невском, недалеко от Собора и небрежно, явно показывая, что это предлог, сказала, что боюсь, что нас видели на улице вместе, что мне это неудобно. Ледяным тоном «Прощайте» – и ушла. А письмо было приготовлено вот какое:

«Не осуждайте меня слишком строго за это письмо... Поверьте, все, что я пишу, сущая правда, а вынудил меня написать его страх стать хоть на минуту в неискренние отношения с Вами, чего я вообще не выношу и что с Вами мне было бы особенно тяжело. Мне очень трудно и грустно объяснить Вам все это, не осуждайте же и мой неуклюжий слог.

Я не могу больше оставаться с Вами в тех же дружеских отношениях. До сих пор я была в них совершенно искренна, даю Вам слово. Теперь, чтобы их поддерживать, я должна была бы начать притворяться. Мне вдруг совершенно неожиданно и безо всякого повода ни с Вашей, ни с моей стороны, стало ново до чего мы чужды друг другу, до чего Вы меня не понимаете. Ведь Вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; Вы навоображали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, которая жила только в Вашем воображении, Вы меня, живого человека, с живой душой, и не заметили, проглядели...

«Вы, кажется, даже любили – свою фантазию, свой философский идеал, а я все ждала, когда же Вы увидите меня, когда поймете, что мне нужно, чем я готова отвечать от всей души... Но Вы продолжали фантазировать и философствовать... Ведь я даже намекала Вам: «надо осуществлять»... Вы отвечали фразой, которая отлично характеризует ваше отношение ко мне: «мысль изреченная есть ложь». Да, все было только мысль, фантазия, а не чувство хотя бы только дружбы. Я долго, искренне ждала хоть немного чувства от Вас, но, наконец, после нашего последнего разговора, возвратясь домой, я почувствовала, что в моей душе что-то вдруг оборвалось, умерло; почувствовала, что Ваше отношение ко мне теперь только возмущает все мое существо. Я живой человек и хочу им быть, хотя бы со всеми недостатками; когда же на меня смотрят как на какую-

то отвлеченность, хотя бы и идеальнейшую, мне это невыносимо, оскорбительно, чуждо... Да, я вижу теперь, насколько мы с Вами чужды друг другу, что я Вам никогда не прощу то, что Вы со мной делали все это время – ведь Вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где мне холодно, страшно и... скучно!

Простите мне, если я пишу слишком резко и чем-нибудь обижу Вас; но ведь лучше все покончить разом, не обманывать и не притворяться. Что Вы не будете слишком жалеть о прекращении нашей «дружбы» что ли, я уверена; у Вас всегда найдется утешением в ссылке на судьбу, и в поэзии, и в науке... А у меня на душе еще невольная грусть, как после разочарования, но надеюсь и я сумею все поскорей забыть, так забыть, чтобы не осталось ни обиды, ни сожаления...»

Прекрасная дама взбунтовалась! Ну, дорогой читатель, если вы ее осуждаете, я скажу вам наверно: вам не двадцать, вы все испытали в жизни и даже уже истрепаны ею, или никогда не чувствовали, как запевает торжественный гимн природе ваша расцветающая молодость, А какой я была в то время, я вам уже рассказала.

Но письмо передано не было, никакого объяснения тоже не было, nach wie vor, так что «знакомство» благополучно продолжалось в его «официальной» части и Блок бывал у нас по-прежнему.

Впоследствии Блок мне отдал три наброска письма, которое и он хотел мне передать после разрыва и так же не решился это сделать, оттягивая объяснение, необходимость которого чувствовалась и им.

Жизнь продолжалась в тех же рамках, я усиленно училась у Читау, которая была не только очень довольна мной, но уже строила планы о том, как подготовить меня к дебюту в Александрийский театр на свое прежнее амплуа молодых бытовых. Уже этой весной Мария Михайловна показала меня

некоторым своим бывшим товарищам (был М. И. Писарев[29], это помню) в отрывках из гоголевской «Женитьбы». Блок на спектакле не был, я послала ему билет с запиской:

«Первой идет на спектакле «Женитьба», в которой я играю; если хотите меня видеть, то приходите вовремя, п. ч. «во время действия покорнейше просят не входить в зал». *Л.* Менделеева. 21-го (марта)».

В «Женитьбе» я и впоследствии играла с большим успехом, но – вот тут, вероятно, одна из моих основных жизненных ошибок – амплуа бытовых меня не удовлетворяло. Да, я с удовольствием вкладывала в него и свою насмешливость, и наблюдательность, и любовь к живописной жизненной мелочи. Но – это не вся я. Больше и нужнее мне: крупные планы, декоративность, живописная позировка, эффект костюмный и эффект большой декламации – словом, план героический. В этом плане меня никто не хотел признать. Во-первых, я была выше и крупнее, чем принято для героини; во-вторых, у меня не было больших, выразительных глаз, которые – неотъемлемая принадлежность героической выразительности. Я думала искупить эти недостатки голосовыми преимуществами – голос был большой и очень выработанная, разнообразная читка. А также уменьем носить костюм, чувством позы и изобразительностью движения. И действительно, когда мне удавалось дорваться до героини – выходило хорошо и очень меня расхваливали. Клитемнестра у Мейерхольда, M-me Шевалье в «Изумрудном паучке» Ауслендера в Оренбурге, Жанна в «Виновны-невиновны» у Мейерхольда

---

[29] Писарев Модест Иванович (1844–1905), актер Александрийского театра (с 1885), театральный педагог, муж артистки П. А. Стрепетовой, друг А. Н. Островского и авторитетный интерпретатор его творчества.

же, Ириада в «Грех попутал» Ш...нинского, где-то в халтуре. Но это амплуа редко встречалось в репертуаре, а для более житейских героинь, например, Кручининой в «Без вины виноватые» у меня не хватало теплоты, бытового драматизма.

Если бы я послушалась Марию Михайловну и пошла указанным ею путем, меня ждал бы верный успех на пути молодых бытовых, тут все меня единогласно всегда и очень признавали. Но этот путь меня не прельщал, и осенью я к Читау не вернулась, была без увлекающего дела и жизнь распорядилась мной по своему.

Лето в Боблове я провела отчужденно от Блока, хотя он и бывал у нас. Я играла в спектакле в большом соседнем селе Рогачево (Наташа в «Трудовом хлебе» Островского), Блок ездил меня смотреть. Потом надолго уезжала к кузинам Менделеевым в их новое именье Рыньково около Можайска. Там я надеялась встретить их двоюродного брата, актера, очень красивого и сильно интересовавшего меня по рассказам. Но судьба и тут или берегла меня, или издевалась надо мной; вместо него приехала его сестра с женихом. Со зла я флиртовала с товарищами Миши Менделеева, мальчиками-реалистами, как и в Боблове с двоюродными братьями Смирновыми, тоже гимназистами, которые все поочередно влюблялись в меня и в мою сестру. Но что это за флирты? Да, читатель, когда вы читаете у Блока о «невинности» царевны и тому подобном, вы смело можете принимать это за чистую монету!

Я рвалась в сторону, рвалась из прошлого; Блок был неизменно тут, и все его поведение показывало, что он ничего не считает ни потерянным, ни изменившимся. Он попрежнему бывал у нас: вот следы выполненного поручения... (письмо Блока IX. 1902).

Но объяснения все же не было и не было. Это меня злило, я досадовала пусть мне будет хоть интересно, если уж теперь

и не затрагивает глубоко. От всякого чувства к Блоку я была в ту осень свободна.

Подходило 7-е ноября, день нашего курсового вечера в Дворянском собрании. И вдруг мне стало ясно – объяснение будет в этот вечер. Не волнение, а любопытство и нетерпение меня одолевали.

Дальше все было очень странно: если не допускать какого-то предопределения и моей абсолютной несвободы в поступках. Я действовала совершенно точно и знала, что и как будет.

Я была на вечере с моими курсовыми подругами Шурой Никитиной и Верой Макоцковой. На мне было мое парижское суконное голубое платье. Мы сидели на хорах в последних рядах, на уже сбитых в беспорядке стульях, недалеко от винтовой лестницы, ведущей вниз влево от входа, если стоять лицом к эстраде. Я повернулась к этой лестнице, смотрела неотступно и знала – сейчас покажется на ней Блок.

Блок подымался, ища меня глазами, и прямо подошел к нашей группе. Потом он говорил, что, придя в Дворянское собрание, сразу же направился сюда, хотя прежде на хорах я и мои подруги никогда не бывали. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе: по лицу Блока я видела, что сегодня все решится, и затуманило меня какое-то странное чувство – что меня уже больше не спрашивают ни о чем, пойдет все само, вне моей воли, помимо моей воли. Вечер проводили, как всегда, только фразы, которыми мы обменивались с Блоком, были какие-то в полтона, не то как несущественное, не то как у уже договорившихся людей. Так часа в два он спросил, не устала ли я и не хочу ли идти домой. Я сейчас же согласилась. Когда я надевала свою красную ротонду, меня била лихорадка, как перед всяким надвигающимся событием. Блок был взволнован не менее меня.

Мы вышли молча, и молча, не сговариваясь, пошли вправо – по Итальянской, к Моховой, к Литейной – к нашим ме-

стам. Была очень морозная, снежная ночь. Взвивались снежные вихри. Снег лежал сугробами, глубокий и чистый. Блок начал говорить. Как начал, не помню, но когда мы подходили к Фонтанке, к Семеновскому мосту, он говорил, что любит, что его судьба в моем ответе. Помню, я отвечала, что теперь уже поздно об этом говорить, что я уже не люблю, что долго ждала его слов и что если и прощу его молчание, вряд ли это чему-нибудь поможет. Блок продолжал говорить как-то мимо моего ответа, и я его слушала. Я отдавалась привычному вниманию, привычной вере в его слова. Он говорил, что для него вопрос жизни в том, как я приму его слова и еще долго, долго. Это не запомнилось, но письма, дневники того времени говорят тем же языком. Помню, что я в душе не оттаивала, но действовала как-то помимо воли этой минуты, каким-то нашим прошлым, несколько автоматически. В каких словах я приняла его любовь, что сказала не помню, но только Блок вынул из кармана сложенный листок, отдал мне, говоря, что если бы не мой ответ, утром его уже не было бы в живых. Этот листок я скомкала, и он хранится весь пожелтевший со следами снега.

«Мой адрес: Петербургская сторона, казармы Л. Гв. Гренадерского полка, кв. Полковника Кублицкого № 13. 7 ноября 1902 года. Город Петербург. В моей смерти прошу никого не винить. Причины ее вполне «отвлеченны» и ничего общего с «человеческими» отношениями не имеют. Верую в едину святую соборную и апостольскую церковь. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущего века. Аминь. Поэт Александр Блок».

Потом он отвозил меня домой на санях. Блок склонялся ко мне и что-то спрашивал. Литературно, зная, что так вычитала где-то в романе, я повернулась к нему и приблизила губы к его губам. Тут было пустое мое любопытство, но морозные поцелуи, ничему не научив, сковали наши жизни.

Думаете, началось счастье – началась сумбурная путаница. Слои подлинных чувств, подлинного упоения молодостью для меня, и слои недоговоренностей и его, и моих, чужие вмешательства – словом плацдарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие катастрофы.

Мы условились встретиться 9-го в Казанском соборе, но я обещала написать непременно 8-го. Проснувшись на другое утро, я еще не вполне владела собой, еще не поддалась надвигающемуся «пожару чувств», и первое мое смешливое побуждение было пойти рассказать Шуре Никитиной о том, что было вчера. Она иногда работала за отца корректором в газете «Петербургский Листок», я подождала ее выхода, провожала домой со смехом и рассказывала: «Знаешь, чем кончился вечер? Я поцеловалась с Блоком!..»

Отправленная мной записочка совершенно пуста и фальшива, уже потому, что никогда в жизни не называла я Блока, как в его семье, «Сашурой».

Но на этом мои конфиденции Шуре Никитиной и прекратились, потому что уже 9-го я расставалась с Блоком завороженная, взбудораженная, покоренная. Из Казанского собора мы пошли в Исаакиевский. Исаакиевский собор, громадный, высокий и пустой, тонул во мраке зимнего вечера. Кой-где, на далеких расстояниях, горели перед образами лампады или свечи. Мы так затерялись на боковой угловой скамье, в полном мраке, что были более отдалены от мира, чем где-нибудь. Ни сторожей, ни молящихся. Мне не трудно было отдаться волнению и «жару» этой «встречи», а неведомая тайна долгих поцелуев стремительно побуждала к жизни, подчиняла, превращала властно гордую девичью независимость в рабскую женскую покорность.

Вся обстановка, все слова – это были обстановка и слова наших прошлогодних встреч, мир, живший тогда только в словах, теперь воплощался. Как и для Блока, вся реальность

была мне преображенной, таинственной, запевающей, полной значительности. Воздух, окружавший нас, звенел теми ритмами, теми тонкими напевами, который Блок потом улавливал и заключал в стихи. Если и раньше я научилась понимать его, жить его мыслью, тут прибавилось еще то «десятое чувство», которым влюбленная женщина понимает любимого.

Чехов смеется над «Душенькой». Разве это смешно? Разве это не одно из чудес природы, эта способность женской души так точно, как по камертону, находить новый лад? Если хотите, в этом есть доля трагичности, потому что иногда слишком легко и охотно теряют свое, отступают, забывают свою индивидуальность. Я говорю о себе. Как взапуски, как на пари, я стала бежать от всего своего и стремилась тщательно ассимилироваться с тоном семьи Блока, который он очень любил. Даже почтовую бумагу переменила, даже почерк. Но это потом. Пока поджидало меня следующее. На другой день мы опять встретились у Исаакиевского собора. Но лишь мимолетно. Блок сказал, что пришел только предупредить меня, чтобы я не волновалась, что ему запрещено выходить, надо даже лежать, у него жар. Он также умолял меня не беспокоиться, но ничего больше сказать не мог. Мы условились писать друг другу каждый день, он ко мне на Курсы.

Каким-то подсознанием я понимала, что это то, о чем не говорят девушкам, но как-то в своей душе устраивалась, что не только не стремилась это подсознание осознать, а просто и вопросительного знака не ставила. Болен, значит «ах, бедный, болен», и точка. Зачем я это рассказываю? Я вижу тут объяснение многого. Физическая близость с женщиной для Блока с гимназических лет это – платная любовь, и неизбежные результаты – болезнь. Слава Богу, что еще все эти случаи в молодости – болезнь не роковая. Тут несомненно травма в психологии. Не боготворимая любовница вводила его в

жизнь, а случайная, безличная, купленная на несколько минут. И унизительные, мучительные страдания... Даже Афродита Урания и Афродита площадная, разделенные бездной... Даже К. М. С. не сыграла той роли, какую должна была бы сыграть; и она более, чем «Урания», чем нужно было бы для такой первой встречи, для того, чтобы любовь юноши научилась быть любовью во всей полноте. Но у Блока так и осталось – разрыв на всю жизнь. Даже при значительнейшей его встрече уже в зрелом возрасте в 1914 году было так, и только ослепительная, солнечная жизнерадостность Кармен победила все травмы и только с ней узнал Блок желанный синтез и той и другой любви.

Говорить обо всем этом не принято, это область «умолчания», но без этих столь непринятых слов совершенно нет подхода к пониманию следующих годов жизни Блока. Надо произнести эти слова, чтобы дать хотя бы какой-то материал, пусть и очень не полный, фрейдовскому анализу событий. Этот анализ защитит от несправедливых обвинений сначала Блока, потом и меня.

И я решаюсь говорить о тех трудностях и сложностях, которые встали перед моей коренной неосведомленностью в делах жизни, в делах любви. Даже сильная и уверенная в себе женщина в расцвете красоты и знания, победила их впоследствии с трудом. Я оказалась совершенно неподготовленной, безоружной. Отсюда ложная основа, легшая в фундаменте всей нашей совместной жизни с Блоком, отсюда безвыходность стольких конфликтов, сбитая линия всей моей жизни. Но обо всем по порядку.

Конечно не муж и не жена. О, Господи! Какой он муж и какая уж это была жена! В этом отношении и был прав А. Белый, который разрывался от отчаяния, находя в наших отношениях с Сашей «ложь». Но он ошибался, думая, что и я, и Саша упорствуем в своем «браке» из приличия, из трусо-

сти и невесть еще из чего. Конечно, он был прав, говоря, что только он любит и ценит меня, живую женщину, что только он окружит эту меня тем обожанием, которого женщина ждет и хочет. Но Саша был прав по-другому, оставляя меня с собой. А я всегда широко пользовалась правом всякого человека выбирать не легчайший путь. Я не пошла на услаждение своих «женских» претензий, на счастливую жизнь боготворимой любовницы. Отказавшись от этого первого, серьезного «искушения», оставшись верной настоящей и трудной моей любви, я потом легко отдавала дань всем встречавшимся влюбленностям – это был уже не вопрос, курс был взят определенный, парус направлен, и «дрейф» в сторону не существенен.

За это я иногда впоследствии и ненавидела А. Белого: он сбил меня с моей надежной самоуверенной позиции. Я по-детски непоколебимо верила в единственность моей любви и в свою незыблемую верность в то, что отношения наши с Сашей «потом» наладятся.

Моя жизнь с «мужем» (!) весной 1906 года была уже совсем расшатанной. Короткая вспышка чувственного его увлечения мной в зиму и лето перед свадьбой скоро, в первые же два месяца погасла, не успев вырвать меня из моего девического неведения, так как инстинктивная самозащита принималась Сашей всерьез.

Я до идиотизма ничего не понимала в любовных делах. Тем более не могла я разобраться в сложной и не вполне простой любовной психологии такого не обыденного мужа, как Саша.

Он сейчас же принялся теоретизировать о том, что нам и не надо физической близости, что это «астартизм», «темное» и Бог знает еще что. Когда я ему говорила о том, что я-то люблю весь этот еще неведомый мне мир, что я хочу его – опять теории: такие отношения не могут быть длительны, все

равно он неизбежно уйдет от меня к другим. А я? «И ты так же». Это приводило меня в отчаяние! Отвергнута, не будучи еще женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, единственность. Я рыдала в эти вечера с таким бурным отчаянием, как уже не могла рыдать, когда все в самом деле произошло «как по-писаному».

Молодость все же бросала иногда друг к другу живших рядом. В один из таких вечеров, неожиданно для Саши и со «злым умыслом» моим произошло то, что должно было произойти – это уже осенью 1904 года. С тех пор установились редкие, краткие, по-мужски эгоистические встречи. Неведение мое было прежнее, загадка не разгадана и бороться я не умела, считая свою пассивность неизбежной. К весне 1906 года и это немногое прекратилось.

Весна этого года – длительный «простой» двадцатичетырехлетней женщины. Не могу сказать, чтобы я была наделена бурным темпераментом южанки, доводящим ее в случае «неувязки» до истерических, болезненных состояний. Я северянка, а темперамент северянки – шампанское замороженное... Только не верьте спокойному холоду прозрачного бокала – весь искрящийся огонь его укрыт лишь до времени. К тому же по матери я и казачка (мама – полуказачка, полушведка). Боря верно учуял во мне «разбойный размах»; это было, это я знаю. Кровь предков, привыкших грабить, убивать, насиловать, часто бунтовала во мне и толкала на свободолюбивые, даже озорные поступки. Но иногда – заедала рефлексия, тягость культуры, тоже впитанная от рождения. Но иногда – прорывалось...

Той весной, вижу, когда теперь оглядываюсь, я была брошена на произвол всякого, кто стал бы за мной упорно ухаживать. Если бы я теперь рассудком отстранилась от прошлого, чужого, то против Бори я почти ничего не могу

противопоставить: все мы ему верили, глубоко его уважали, и считались с ним, он был свой. Я же, повторяю, до идиотизма не знала жизнь и ребячливо верила в свою непогрешимость. Да, по правде сказать, и была же я в то время и семьей Саши, и московскими «блоковцами» захвачена, превознесена без толку и на все лады, мимо моей простой человеческой сущности. Моя молодость таила в себе какое-то покоряющее очарование, я это видела, это чуяла; и у более умудренной опытом голова могла закружиться. Если я пожимала плечами в ответ на теоретизирования о значении воплощенной во мне женственности, то как могла я удержаться от соблазна испытывать власть своих взглядов, своих улыбок на окружающих? И прежде всего на Боре, самом значительном из всех? Боря же кружил мне голову, как самый опытный Дон Жуан, хотя таким никогда и не был. Долгие, иногда четырех- или шестичасовые его монологи, отвлеченные, научные, очень интересные нам, заканчивались неизбежно каким-нибудь сведением ко мне; или прямо или косвенно выходило так, что смысл всего – в моем существовании и в том, какая я.

Не корзины, а целые «бугайные леса» появлялись иногда в гостиной – это Наливайко или Владислав[30], смеясь втихомолку, вносили присланные «молодой барыне» цветы. Мне – привыкшей к более чем скромной жизни и обстановке! Говорил и речью самых влюбленных напевов – приносил Глинку («Как сладко с тобою мне быть» и «Уймитесь волнения страсти еще что-то). Сам садился к роялю импровизируя; помню мелодию, которую Боря называл «моя тема» (т. е. его тема). Она хватала за душу какой-то близкой мне отчаянностью и болью о том же, о чем томилась и я, или так мне казалось. Но думаю, что и он, как и я, не измерял опасности тех путей, по

---

30 Слуги в доме Блоков.

которым мы так неосторожно бродили. Злого умысла не было и в нем, как и во мне.

Помню, с каким ужасом я увидела впервые; то единственное, казавшееся неповторимым моему детскому незнанию жизни, то, что было между мной и Сашей, что было для меня моим «изобретением», неведомым, неповторимым, эта «отрава сладкая» взглядов, это проникновение в душу без взгляда, даже без прикосновения руки, одним присутствием – это может быть еще раз и с другим? Это – «бывает»? Это я смотрю вот так на «Борю»? И тот же туман, тот же хмель несут мне эти чужие, эти не Сашины глаза?

Мы возвращались с дневного концерта оркестра графа Шереметева[31], с «Парсифаля», где были всей семьей и с Борей. Саша ехал на санях с матерью, а я с Борей. Давно я знала любовь его, давно кокетливо ее принимала и поддерживала, не разбираясь в своих чувствах, легко укладывая свою заинтересованность им в рамки «братских» (модное было у Белого слово) отношений. Но тут (помню даже где – на набережной, за домиком Петра Великого) на какую-то фразу я повернулась к нему лицом – и остолбенела. Наши близко встретившиеся взгляды... но ведь это то же, то же! «Отрава сладкая...» Мой мир, моя стихия, куда Саша не хотел возвращаться – о как уже давно и как недолго им отдавшись! Все время ощущая нелепость; немыслимость, невозможность, я взгляда отвести уже не могла. И с этих пор пошел кавардак. Я была взбудоражена не менее Бори. Не успевали мы оставаться одни, как никакой уже преграды не стояло между нами и мы беспомощно и жадно не могли оторваться от долгих и неутоляющих поцелуев. Ничего не предрешая в сумбуре, я даже

---

[31] Шереметев, Александр Дмитриевич (1859–1919), музыкальный деятель, дирижер, организатор (1882) собственного оркестра, в 1898 учредил общедоступные симфонические концерты.

раз поехала к нему. Играя с огнем, уже позволяла вынуть тяжелые черепаховые гребни и шпильки, и волосы уже упали золотым плащом (смешно тебе, читательница, это начало всех «падений» моего времени?)... Но тут какое-то неловкое и неверное движение (Боря был в таких делах явно не многим опытнее меня) – отрезвило, и уже волосы собраны, и уже я бегу по лестнице, начиная понимать, что не так должна найти я выход из созданной мною путаницы.

(Дорогой читатель, обращаюсь теперь к Вам; я понимаю, как Вам трудно поверить моему рассказу! Давайте помиримся на следующем: моя версия все же гораздо ближе к правде, чем Ваши слишком лестные для А. Белого предположения). То, что я не только не потеряла голову, но наоборот отшатнулась при первой возможной близости, меня очень отрезвило. При следующей встрече я снова взглянула на Борю более спокойным взглядом, и более всего на свете захотелось мне иметь несколько свободных дней или даже недель, чтобы собраться с мыслями, оглядеться, понять, что я собираюсь делать. Я попросила Борю уехать. В гостиной Александры Андреевны, у рояля, днем, вижу эту сцену: я сидела за роялем, он стоял против меня, облокотившись на рояль, лицом к окнам. Я просила уехать, дать мне эту свободу оглядеться и обещала ему написать сейчас же, как только пойму. Вижу, как он широко раскрытыми глазами (я их называла «опрокинутыми» – в них тогда бывало не то сумасшествие какое-то, не то что-то нечеловеческое, весь рисунок «опрокинутый»... «Почему опрокинутые?», пугался всегда Боря) смотрит на меня покоренный и покорный и верит мне. Вот тут-то и был тот обман, на который впоследствии жестоко жаловался Боря: я ему не показала, что уже отхожу, что уже опомнилась. Я его лишала единственного реального способа борьбы в таких случаях – присутствия. Но в сущности, более опытному, чем

он, тот оборот дела, который я предлагала, был бы достаточно красноречивым указанием на то, что я отхожу. Боря же верил одурманенным поцелуям, и в дурмане сказанным словам – «да, уедем», «да, люблю» и прочему, чему ему приятно было верить.

Как только он уехал, я начала приходить от ужаса в себя: что же это? ведь я ничего уже к нему и не чувствую, а что я выделывала! Мне было и стыдно за себя, и жаль его, но выбора уже не было. Я написала ему, что не люблю его и просила не приезжать. Он негодовал, засыпал меня письмами, жаловался на меня всякому встречному; это было даже более комично, чем противно и из-за этого я не смогла сохранить к нему даже дружбу.

Мы уехали в Шахматове рано. Шахматове – тихое прибежище, куда и потом не раз приносили мы свои бури, где эти бури умиротворялись. Мне надо было о многом думать, строй души перестраивался. До тех пор я была во всем покорной ученицей Саши; если я думала и чувствовала не так, как он – я была не права. Но тут вся беда была в том, что равный Саше (так все считали в то время) полюбил меня той самой любовью, о которой я тосковала, которую ждала, которую считала своей стихией (впоследствии мне говорили не раз, увы, что я была в этом права). Значит, вовсе это не «низший» мир, значит, вовсе не «астартизм», не «темное», недостойное меня, как старался убедить меня Саша. Любит так, со всем самозабвением страсти – Андрей Белый, который был в те времена авторитет и для Саши, которого мы всей семьей глубоко уважали, признавая тонкость его чувств и верность в их анализе. Да, уйти с ним это была бы действительно измена. У Л. Лесной[32] есть стихотвореньице, которое

[32] *Л. Лесная* – бульварная поэтесса, автор сборника «Аллеи причуд».

она часто читала с эстрады в те годы, когда я с ней играла в одном театре (Куоккала, 1914). «Японец» любил «японку одну», потом стал «обнимать негритянку»; но ведь он по-японски с ней не говорил? Значит, он не изменил, значит она случайна...» С Андреем Белым я могла бы говорить «по-японски»; уйти с ним было бы сказать, что я ошиблась, думая, что люблю Сашу, выбрать из двух равных. Я выбрала, но самая возможность такого выбора поколебала всю мою самоуверенность. Я пережила в то лето жестокий кризис, каялась, приходила в отчаяние, стремилась к прежней незыблемости. Но дело было сделано; я увидела отчетливо перед глазами «возможности», зная в то же время уже наверно, что «не изменю» я никогда, какой бы ни была видимость со стороны. К сожалению, я глубоко равнодушно относилась к суждению и особенно осуждению чужих людей, этой узды для меня не существовало.

Отношение мое к Боре было бесчеловечно, в этом я должна сознаться. Я не жалела его ничуть, раз отшатнувшись. Я стремилась устроить жизнь, как мне нужно, как удобней. Боря добивался, требовал, чтобы я согласилась на то, что он будет жить зимой в Петербурге, что мы будем видеться хотя бы просто как «знакомые». Мне, конечно, это было обременительно, трудно и хлопотливо бестактность Бори была в те годы баснословна. Зима грозила стать пренеприятнейшей. Но я не думала о том, что все же виновата перед Борей, что свое кокетство, свою эгоистическую игру я завела слишком далеко, что он-то продолжает любить, что я ответственна за это... Обо всем этом я не думала и лишь с досадой рвала и бросала в печку груды писем, получаемых от него. Я думала только о том, как бы избавиться от этой уже ненужной мне любви, и без жалости, без всякой деликатности просто запрещала ему приезд в Петербург. Теперь я вижу, что

сама доводила его до эксцессов, тогда я считала себя в праве так поступать, раз я-то уже свободна от влюбленности.

Вызов на дуэль был, конечно, ответ на все мое отношение, на мое поведение, которого Боря не понимал, не верил моим теперешним словам. Раз сам он не изменил чувств, не верил измене моих. Верил весенним моим поступкам и словам. И имел полное основание быть сбитым с толку. Он был уверен, что я «люблю» его по-прежнему, но малодушно отступаю из страха приличия и тому подобных глупостей. А главная его ошибка – был уверен, что Саша оказывает на меня давление, не имея на то морального права. Это он учуял. Нужно ли говорить, что я не только ему, но и вообще никому не говорила о моем горестном браке. Если вообще я была молчалива и скрытна, то уж об этом... Но совершенно не учуял основного Сашиного свойства. Саша всегда становился совершенно равнодушным, как только видел, что я отхожу от него, что пришла какая-нибудь новая влюбленность. Так и тут. Он пальцем не пошевелил бы, чтобы удержать. Рта не открыл бы. Разве только для того, чтобы холодно и жестоко, как один он умел, язвить уничтожающими насмешками, нелестными характеристиками моих поступков, их мотивов, меня самой и моей менделеевской семьи, на придачу.

Поэтому, когда явился секундант Кобылинский[33], я моментально и энергично, как умею в критические минуты, решила, что я сама должна расхлебывать заваренную мною кашу. Прежде всего я спутала ему все карты и с самого начала испортила все дело.

А. Белый говорит, что приехал Кобылинский в день отъезда Александры Андреевны, т. е. 10 августа (судя по дневнику М. А. Бекетовой). Может быть, этого я не помню, хотя

[33] Лев Львович Кобылинский (Эллис) (1879–1947), поэт и теоретик символизма, друг А. Белого.

прекрасно помню все дальнейшее. Мы были с Сашей одни в Шахматове. День был дождливый, осенний. Мы любили гулять в такие дни. Возвращались с Малиновой горы и из Прасолова, из великолепия осеннего золота, промокшие до колен в высоких лесных травах. Подымаемся, в саду по дорожке, от пруда, и видим в стеклянную дверь балкона, что по столовой кто-то ходит взад и вперед. Скоро узнаем и догадываемся. Саша, как всегда, спокоен и охотно идет навстречу всему худшему – это уж его специальность. Но я решила взять дело в свои руки и повернуть все по-своему, не успели мы еще подняться на балкон. Встречаю Кобылинского непринужденно и весело, радушной хозяйкой. На его попытку сохранить официальный тон и попросить немедленного разговора с Сашей наедине, шутя, но настолько властно, что он тут же сбивается с тона, спрашиваю, что же это за секреты? У нас друг от друга секретов нет, прошу говорить при мне. И настолько в этом был силен мой внутренний напор, что он начинает говорить при мне, секундант-то! Ну, все испорчено. Я сейчас же пристыдила его, что он взялся за такое бессмысленное дело. Но говорить надо долго, и он устал, а мы, давайте сначала пообедаем. Быстро мы с Сашей меняем наши промокшие платья. Ну, а за обедом уж было пустяшным делом пустить в ход улыбки и «очей немые разговоры» – к этому времени я хорошо научилась ими владеть и знала их действие. К концу обеда мой Лев Львович сидел уже совсем прирученный, и весь вопрос о дуэли был решен... за чаем. Расстались мы все большими друзьями.

Пришедшая зима 1906–1907 года нашла меня совершенно подготовленной к ее очарованиям, ее «маскам», «снежным кострам», легкой любовной игре, опутавшей и закружившей нас всех. Мы не ломались, упаси Господь! Мы просто и ис-

кренне все в эту зиму жили не глубокими, основными, жизненными слоями души, а ее каким-то легким хмелем.

Если не ясно для постороннего говорит об этом «Снежная маска», то чудесно рассказана наша зима В. П. Веригиной в ее воспоминаниях о Блоке.

Мой партнер этой зимы, первая моя фантастическая «измена» в общепринятом смысле слова, наверно, вспоминает с неменьшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением пережидала, когда мы проснемся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: «бег саней»[34], «медвежья полость»[35], «догоревшие хрустали»[36], какой-то излюбленный всеми нами ресторанчик на островах с его немыслимыми, вульгарными «отдельными кабинетами»[37] (это-то и было заманчиво) и легкость, легкость, легкость... Георгий Иванович[38] кроме того обладал драгоценным чувством юмора, который очень верно удерживал нас от всякого «пересола». Когда он несколько лет назад «вернул» мне мои «письма» – вот это уже был пересол, тут чувство юмора ему изменило! Но я была им рада и с умилением перечитывала этот легкий, тонкий бред: «О, я знала, что сегодня Вы будете не в силах от меня отделаться, что от Вас будет сегодня весть. А я разве не странно отношусь к Вам? Разве не нелепо, что когда Вы уходите, обрывается что-

[34] Из стих. Блока «Снежная вязь».

[35] «На островах».

[36] «Под масками».

[37] Из стих. А. Белого «В летнем саду», 1906.

[38] Г. И. Чулков (1879–1939), поэт и прозаик, лидер группы «мистических анархистов». По его заказу написан блоковский «Балаганчик».

то во мне и страшно тоскую. Но ничего мне не надо от Вас. Иногда только необходимо встретить Ваш взгляд и знать, что не уйти Вам от меня. Сегодня хотела бы видеть Вас, я дома сейчас и весь вечер. Ваша Л. Б.» И бумажка тонкая, и почерк легкий, летящий, почти не существующий.

Не удивляйтесь, уважаемый читатель, умилению и лиризму при воспоминании об этих нескольких зимних месяцах – потом было много и трудного и горького и в «изменах» и в добродетельных годах (и такие были). Но эта зима была какая-то передышка, какая-то жизнь вне жизни. И как же не быть ей благодарной, не попытаться и в вас, читатель, вызвать незабываемый ее облик, чтобы, читая и «Снежную маску» и другие стихи той зимы, вы развеяли по всему нашему Петербургу эти снежные чары и видели закруженными пургой всех спутников и спутниц Блока.

Он не был красив, паж Дагоберт[39]. Но прекрасное, гибкое и сильное, удлиненное тело, движенья молодого хищного зверя. И прелестная улыбка, открывающая белоснежный ряд зубов. Несколько парализовал его дарование южный акцент, харьковское комканье слов, с которым он не справлялся. Но актер превосходный, тонкий и умный. Впоследствии он поднялся очень высоко в театральной иерархии. Но в тот сезон он был еще начинающим, одним из нашей молодой группы, из которой выросли кроме него таланты К. Э. Гибшмана, В. А. Подгорного, Ады Корвин[40], среди которой была я, подававшая не меньше надежды и так глупо загубившая все.

---

[39] Паж Дагоберт – персонаж из «Змеиноокой в надменном чертоге» – пролога трагедии «Победа смерти» Ф. Сологуба, написанного специально для труппы Мейерхольда-Унгерна.

[40] Гибшман, Константин Эдуардович (1884 – ок. 1942) – известный артист эстрады, конферансье. Театральную деятельность начал в 1905 году, работал в театрах «Кривое зеркало», «Дом интерме-

В нем и во мне бурлила молодая кровь, оказавшаяся так созвучной на заветных путях.

В тот день, после репетиции и обеда, немногие оставшиеся до спектакля часы, мы сидели в моем маленьком гостиничном номере, на утлом диванчике. Перед нами на столе лежал, как предлог для прихода ко мне, какой-то французский роман. Паж Дагоберт усовершенствовался в знании этого языка, а я взялась ему помогать, чтобы избегнуть поиска в словаре, на которые, действительно, уходит много времени, а его было у всех нас очень мало. Однако и для нас не «прошли времена Паоло и Франчески...»[41] Когда пробил час упасть одеждам, в порыве веры в созвучность чувств моего буйного пажа с моими, я как-то настолько убедительно просила дать мне возможность показать себя так, как я этого хочу, что он повиновался, отошел к окну, отвернувшись к нему. Было уже темно, на потолке горела электрическая лампочка – убогая, банальная. В несколько движений я сбросила с себя все и распустила блистательный плащ золотых волос, всегда легких, волнистых, холеных. В наше время ими и любовались, и гордились. Отбросила одеяло на спинку кровати. Гостиничную стенку я всегда завешивала простыней, также спинку кровати у подушек. Я протянулась на фоне этой снежной белизны и знала, что контуры тела еле-еле на ней намечаются, что я могу не бояться грубого, прямого света, падающего с потолка, что нежная и тонкая, ослепительная кожа может не

дий», «Летучая мышь», «Привал комедиантов».

Подгорный, Владимир Афанасьевич (1887–1944), драматический актер, театральную деятельность начал в 1906 в «Театре новой драмы», играл в театре Комиссаржевской, «Кривом зеркале», Камерном и др.

Ада Корвин (Ада Алексеевна Юшкевич, ум. в 1919), танцовщица-босоножка и драматическая актриса.

[41] Из стих. Блока «Она пришла с мороза».

искать полумрака... Может быть Джорджоне, может быть Тициан... Когда паж Дагоберт повернулся... Началось какое-то торжество, вне времени и пространства. Помню только его восклицание: «А-а-а... что же это такое?» Помню, что он так и смотрел издали, схватившись за голову, и только умоляет иногда не шевелиться... Сколько времени это длилось? Секунды или долгие минуты... Потом он подходит, опускается на колено, целует руку, что-то бормочет о том, что хочет унести с собой эти минуты, не нарушив ничем их восторга... Он видит, что я улыбаюсь ему гордо и счастливо и благодарным пожатием руки отвечаю на почтительные поцелуи.

На спектакле, конечно, мой паж Дагоберт уже ходит чернее тучи, так смотрит, что я бегу от него, боюсь, что бьющая меня лихорадка будет слишком заметна другим. И все же где-то на сцене он успевает почти проскрежетать около моего уха: «Теперь-то я уж больше не уйду»... И начался пожар, такое полное согласие всех ощущений, экстаз почти до обморока, экстаз, может быть и до потери сознания – мы ничего не знали и не помнили и лишь с трудом возвращались к миру реальности.

И все же первые минуты остаются несравненными.

Это безмолвное обожание, восторг, кольцо чар, отбросившее, как реальная сила – этот момент лучшее, что было в моей жизни. Никогда я не знала большей «полноты бытия», большего слияния с красотой, с мирозданием. Я была я, какой о себе мечтала, какой только надеялась когда-нибудь быть.

Это ли не «сублимация»? Влекло нас, молодых и нравящихся друг другу желание. Отбросило его от меня мое собственное отношение к моему телу, к торжественному для меня моменту – показать его тому, кто должен был увидеть так, как я себя видела. Все могло сорваться, если бы он был «не тот».

Неужели бывают люди одинаковые, понимающие друг друга во всем и живущие общей жизнью с головы до пят? Неужели бывает это счастье? Я его не знала. С каждым была только одна какая-нибудь область общая, понятная. Даже потом среди просто «любовников»: со всяким по-разному и только одна общая струна.

Паж Дагоберт был мне самым близким в святом-святых моей жизни. В нем жило то же благоговение перед красотой тела и страсть его была экстатична и самозабвенна. Пусть благодарность за эти шаги живет на этих, порою слишком жестких страницах. Я благодарна Вам и сейчас, на старости лет, паж Дагоберт, никогда этой благодарности не теряла, пусть и разошлись мы так скоро и так трагично для меня.

Темные, страшные, непонятные месяцы и годы. Когда я оптимистична и верю думаю, что нужны для чего-то были. Но сейчас не понимаю, что за бессмысленное, садистское мучительство? Что за страшная глупость и беззащитность с моей стороны? Как я не вырвалась с самого начала, как не защитила себя?

С ранней, ранней юности предельным ужасом казалась мне всегда возможность иметь ребенка. Когда стал приближаться срок нашей свадьбы с Сашей, я так мучилась этой возможностью, так бунтовало все мое существо, что даже решилась сказать все прямо Саше, потому что он заметил, что я о чем-то непонятно терзаюсь. Я сказала, что ничего так не ненавижу на свете, как материнство, и так его боюсь, что бывают минуты, что готова отказаться от брака с ним при мысли об этой возможности. Саша тут же успокоил все мои страхи: детей у него никогда не будет.

В безумную мою весну 1908 года я ни о чем не думала, попрежнему ничего не знала о прозе жизни. Вернулась в мае беременной, в предельном, беспомощном отчаянии. Твердо решила устранить беременность, но ничего не предприни-

мала, как страус пряча голову под крыло: кто-то где-то при мне сказал такую нелепость, что делать это надо на третий месяц. Решила, значит, после лета, после сезона в Боржоме.

Мы все тогда увлекались хиромантией. Я тщательно избегала смотреть на свою левую ладонь: на линии жизни появилось и становилось все ярче красное пятнышко – ждала меня катастрофа. Я старалась так дожить, зажмурившись, до августа. С Д. порвала глупо, истерично, беспричинно. Чувство, что я на краю гибели, не покидало меня. Я делала то, что не делала никогда ни до, ни после. С самым антипатичным и чуждым мне актером из всей труппы шла вечером на «поплавок» на Куре, и пила с ним просто водку. Мы сидели друг против друга почти молча, у него было тоже что-то свое и такой подставной манекен был нужен и ему, как и мне. Когда туман заволакивал сознание, он вежливо брал меня под руку, и мы также молча возвращались на дачу, где жили всей труппой.

В полном «смятении чувств» целовалась то с болезненным, черномазым мальчуганом, нашим актером, то с его сестрой, причем только ревнивое наблюдение брата удерживало эту любопытную, хорошенькую птичку от экспериментов, к которым ее так тянуло. Д. был тут же, но мы были чужими. Он совершенно не понял болезненность моего состояния и бездны моего отчаяния.

Странно, что играла я при этом хорошо, некоторые роли даже очень хорошо, например, героиню в большом, старинном водевиле «Когда б он знал», которую я сделала и живописной и трогательной «тургеневской женщиной». Вся труппа очень за нее хвалила.

Да и здоровье не выдавало моего состояния. Я спокойно перенесла и даже просмаковала наше путешествие в Абастуман на гастроли с «Графиней Юлией» Стриндберга. Мы должны были проделать его, как приятную прогулку на ав-

томобиле, которая должна была длиться часа два-три – не помню в точности. Выехали рано утром, чтобы доехать до жары. Но через полчаса шина лопнула. Запасной не было и началась потеха. Шофер заклеит, несколько шагов – опять лопнет. Наконец, он – набил шину травой! И так мы, еле передвигаясь, в немыслимых толчках и тряске, протащились весь день. Причем вода в охладителе кипела, и шел от мотора пар, как от самовара. Ежеминутно шофер сбегал с ведром к Куре, наливал свежую воду, и сейчас же закипала и она... Всякая проезжавшая повозка обдавала нас густым облаком пыли. Мы с Таточкой Буткевич[42] старались сидеть и не шевелиться, чтобы не дать проникнуть дальше толстому слою пыли, покрывавшему нас, хрустевшему на зубах, запорошившему глаза, все это под палящим солнцем. Приехали мы в 9 часов вечера (начало спектакля в 8 часов), и как на нас ни кричали, мы не согласились идти гримироваться и одеваться, пока нам не дадут вымыться с головы до ног. Все это я перенесла, как здоровая, т. е. с интересом и от души забавлялась всеми эпизодами такого колоритного денька.

Но пришел август, приехала в Петербург. Саша был тут. Я бросилась к докторам. Но к хорошим и почтенным. Они читали мне нотацию и выпроваживали. Помню свое лицо в зеркале – совершенно натянутая кожа, почти без овала, громадные, как никогда ни до, ни после, полусумасшедшие глаза. Я брала в руки страницу объявлений в «Новом времени», руки падали, и я горько плакала знала, это будет верная смерть (пятно на линии жизни). Подруги не было, никого не было, кто бы помог и посоветовал.

Саша – тоже что-то вроде нотации: пошлость, гадость, пусть будет ребенок, раз у нас нет, он будет наш общий. И я

---

[42] Буткевич, Наталья Антоновна, драматическая актриса, жена барона Р. А. Унгерна.

спасовала, я смирилась. Пусть будет так. Против себя, против всего моего самого дорогого.

Томительные месяцы ожидания.

С отвращением смотрела я, как уродуется тело, как грубеют маленькие груди, как растягивается кожа живота. Я не находила в душе ни одного уголка, которым могла бы полюбить гибель своей красоты. Каким-то поверхностным покорством готовилась к встрече ребенка, готовила все, как всякая настоящая мать. Даже душу как-то приспособила.

Я была очень брошена. Мама и сестра были в Париже. Даже Александра Андреевна в Ревеле; она очень любила всякое материнство и детей, но и ее не было. Саша очень пил в эту зиму и совершенно не считался с моим состоянием. И подруг моих никого не было в Петербурге. Старая наша «Катя», бывшая папина горничная, сокрушенно качала головой: кабы барин был жив, не такой бы уход был – папа обожал детей и внуков.

Четверо суток длилась пытка. Хлороформ, щипцы, температура сорок, почти никакой надежды, что бедный мальчик выживет. Он был вылитым портретом отца. Я видела его несколько раз в тумане высокой температуры. Но молока не было, его перестали приносить. Я лежала: передо мной была белая равнина больничного одеяла, больничной стены. Я была одна в своей палате и думала: «Если это смерть, как она проста...» Но умер сын, а я нет.

Через несколько недель вернулась домой. В душе была, наверно, сильная травма. Я все переживала особенно. Помню первое впечатление дома: яркое весеннее солнце падало косым лучом на дверцу книжного шкафа в Сашиной комнате, и игра света на блестящей поверхности красного дерева казалась мне такой фантастически прекрасной и красочной, словно я никогда в жизни не видела еще ни света, ни яркой краски. Это после моей белизны, моего отхода от жизни.

Но потом доминирующей нотой была пустота и тупость. Даже странности – я боялась переходить улицы, боялась людных мест. Но почему-то меня не лечили; и я не лечилась. К счастью, решила ехать в Италию и спастись ею, как многих спасало ее искусство. Это было для меня, конечно, правильно.

Послушать критиков, даже самых умных, выходит так: не Блок, а какой-то насупившийся гимназист VIII класса мрачно ковыряет в носу, решает свое «мировоззрение» с народниками ли он или с марксистами...

Они как будто забывают, что когда в науке ли, в искусстве ли находит ученый или поэт новое, оно неведомо и ему самому, как и всем. Думал об одном, решил что-то из знакомого, из уже существующего, а вышло небывалое, новое. И приходит это новое путями далеко еще не исследованными, вовсе не укладывающимися в концепцию «умного восьмиклассника», решающего удачно труднейшие задачи, в которую наперебой стремятся критики засунуть всякого поэта, желая его «похвалить». Творческие пути используют подсознательное в той же мере, как и сознательное мышление, даже в науке. Мне не надо выходить из семейных воспоминаний, чтобы вспомнить разительный пример. Да, созданию периодической системы предшествовала десятилетняя работа, сознательные поиски и нащупывания истины... Но вылилась она в определенную форму в момент подсознательный. Отец сам рассказывал: после долгой ночи за письменным столом, он уже кончил работу, голова была утомлена, мысль уже не работала. Отец «машинально» перебирал карточки с названиями элементов и их свойств и раскладывал их на столе, ни о чем не думая. И вдруг толчок – свет, осветивший все: перед ним на столе лежала периодическая система. Научный гений для решительного шага в новое, в неведомое должен был использовать момент усталости, момент, открывший шлюзы подсознательным силам.

Критики меня смешат: через шестнадцать лет после смерти Блока, через тридцать с лишком лет после первого десятилетия деятельности, конечно – возьми его книжки, читай, и если ты не вовсе дурак, поймешь из пятого в десятое о чем они, какой ход мыслей от одного этапа к другому, к настроениям и идеологии каких социальных или литературных группировок можно эти мысли отнести.

Критик и думает, рассказав эти свои наблюдения, что он что-то сообщит или узнает о творчестве Блока. Как бы не так! Уж очень это простенько, товарищ критик, уж очень «гимназист VIII класса»! А получается так простенько потому, что вы берете уже законченное, говоря о начале, вы уже знаете, какой будет конец. Теперь уж ведомо и школьнику, что «Двенадцать» венчает творческий и жизненный путь Блока. Но когда Блок писал первое свое стихотворение, ему неведомо было и второе, а не то что впереди...

А вы попробуйте перенестись в конец девяностых годов, когда Блок уже писал «Стихи о прекрасной даме», конечно, не подозревая, что он что-либо подобное пишет. Ловит слухом и записывает то, что поется около него, в нем ли – он не знает. Попробуйте перенестись во время «Мира Искусства» и его выставок[43], до романов Мережковского, до распространения широкого знакомства с французскими символистами, даже до первого приезда Художественного театра. Помню чудный образчик «уровня» – концерт на Высших курсах уже в 1900 году: с одной стороны, старый, седой, бородатый поэт Поздняков читает[44], простирая руку под Полонского, «Вперед без страха и сомненья...», с другой, Потоцкая жеманно вы-

---

[43] Литературно-художественная группа, основанная (1890) С. П. Дягилевым.

[44] Поздняков, Николай Иванович (1856–1910) – поэт, переводчик, педагог.

жимает сдобным голоском что-то Чюминой: «...птичка мертвая лежала»[45].

Пусть семья Блока тонко литературна, пусть Фет, Верлен и Бодлэр знаком с детства, все же чтобы написать любое стихотворение, нужен какой порыв, какая неожиданность и ритма и звуковой инструментовки, не говоря об абсолютной непонятности в то время и хода мыслей, и строя чувств.

Помню ясно, как резанули своей неожиданностью первые стихи, которые показал мне Блок в 1901 году. А я была еще к новому подготовлена, во мне самой назревало это новое совершенно в других слоях души чем показные, парадные. Может быть, именно благодаря тому, что я пережила этот процесс рождения нового, мне ясно, где и как искать его корни «в творчестве» у великих. С показной стороны я была – член моей культурной семьи со всеми его широкими интересами в науке и искусстве. Передвижные выставки[46], «Русская мысль»[47] и «Северный вестник», очень много серьезной музыки дома, все спектакли иностранных трагических актрис. Но вот (откуда?) отношение мое к искусству обострилось, разрослось совсем по-другому, чем это было среди моих. Это была основа всего идущего нового – особое восприятие искусства, отдававшее ему без остатка святое святых души. Черпать в нем свои коренные силы и ничему так не верить, как тому, что пропоет тебе стих или скажет музыка, что просияет тебе с полотна картины, в штрихе рисунка. С Врубеля у меня и началось. Было мне тогда лет четырнадцать-пятнадцать. Дома всегда покупали новые книги. Купили и

---

[45] Чюмина Ольга Николаевна (1858) дата рождения уточнена Б. Л. Бессоновым.

[46] Объединение художников-реалистов «Творчество передвижных художественных выставок», возникшее в 1870 г.

[47] Журнал «Русская мысль» (1880–1918), в 80-ые годы – народнический орган.

иллюстрированного Лермонтова в издании Кнебеля. Врубелевские рисунки к Демону меня пронзили (откуда, откуда?), но они-то как раз и служили главным аттракционом, когда моя просвещенная мама показывала не менее культурным своим приятельницам эти новые иллюстрации к Лермонтову. Смеху и тупым шуткам, которые неизменно, неуклонно порождало всякое проявление нового – конца не было. Мне было больно (по-новому!). Я не могла допустить продолжения этих надругательств, унесла Лермонтова и спрятала себе под тюфяк: как ни искали, так и не нашли. Так же потрясла душу и взгромоздила в ней целые новые миры Шестая симфония Чайковского в исполнении Никиша[48]. Все восхищались «прекрасным исполнением», я могла только стиснув зубы молчать.

Я знаю, что понять меня современному читателю трудно, т. е. трудно представить себе, что это романтически звучащее «высокое» восприятие искусства, сейчас порядочно-таки старомодное, в свое время было передовым двигателем искусства, и двигателем большой мощности. Не только осознать умом, но и ощущать всеми жизненными силами, что самое полное, самое ощутимое познание основ мирозданья несет искусство – вот формула, упуская из виду которую трудно разобраться не только а творчестве Блока, но и многих его современников.

Одно дело писать стихи на обдуманную тему, подыскивая ей талантливо нужную форму – критики, по-видимому, полагают, что этим занимался Блок. Другое вслушиваться в запевающий (а душе или извне – этого Блок никогда не знал)

---

[48] Об интерпретации Артура Никиша 6-й симфонии Чайковского см.: Ferdinand Pfohl. Arthur Nikisch. – in: Arthur Nikisch. Leben und Wirken in Beiträgen, hrsg. von H. Chevalley. Berlin, 1922, ss. 67–69.

отголосок, отзвук мира, в певучей своей стихии открывающегося поэту.

Ведь в конце концов, чем-то поэт отличается от нас с вами, товарищ критик? И отличается он от самого ловкого, самого виртуозного стихослагателя?

Как странно теперь вспоминать то общество, среди которого я росла и среди которого провела жизнь замужем. Все люди очень не денежные и абсолютно "вне-денежные». Приходят деньги – их с удовольствием тратят, не приходят ничего не делается для их умножения. Деньги – вне интересов, а интересы людей вне их самих, вне того тонкого слоя навозца, который покрывает кору земного шара. Чтобы жить, надо стоять ногами в этом навозце, надо есть, надо как-нибудь организовать свой быт. Но голова высоко-высоко над ним.

Никогда не слыхала я дома или у нас с Александром Александровичем за обеденным столом или за чаем (которые очень редко протекают без гостя, всегда кого-нибудь задержит отец или Александр Александрович на обед), никогда не слыхала вульгарно-житейских или тем более хозяйственных разговоров. Тему разговора дает актуальное событие в искусстве или науке, очень редко в политике. Отец охотно и много рассказывает из виденного и всегда обобщает, всегда открывает широкие перспективы на мир. У нас зачастую обеденный разговор – это целый диспут Александра Александровича с кем-нибудь из друзей или случайным гостем. Казалось бы немыслимое времяпрепровождение: пяти-шестичасовой разговор на отвлеченную тему. Но эти разговоры – творческие: не только собеседник, но и сам Блок часто находил в них уточнение мыслей, новые прорывы и назревающие темы. Даже ненавистные «семейные обеды» и те звучат не вульгарно. Мама любит говорить и рассказывать, и часто говорит остроумно, хотя и парадоксально. Она любит сра-

зиться с интересным собеседником, а такие среди наших родных были нередки, и остроумная словесная дуэль заполняет общее внимание. Александра Андреевна несколько ходульно, но очень искренне ненавидела обывательский быт, и в те родственные обеды, где приходилось встречаться с несколькими чуждыми людьми, она всегда умудрялась внести элемент «скандала» нарочито вызывающими высказываниями. Быт трещал. Но большинство тех, кого я видела и в родительском доме и у себя: «что за люди мон-шер!» Друзья моих родителей, передвижники, Ярошенко[49], Куинджи, Репин, бородатые, искренние, большие дети, наивные и незыблемо верящие в раз найденные принципы и идеи. Блестящий Коновалов (впоследствии академик)[50], с высоко вскинутой красивой головой. Все, кто сталкивался с отцом в работе, все родственники, которые бывали – все в этом плане истинной интеллигенции: можно очень любить свою персону, но как раз постольку, поскольку она способна проникать в стоящее выше меня. Это ощущение вверх, а не вокруг себя и не под ногами – самое существенное.

«Мое рождение было странно», говорит Эузебио в «Поклонении Кресту». Я часто твердила это в шутку и о себе, во всяком случае – путаница. По метрическому свидетельству я родилась 29 августа 1882 года. В сущности же – 29 декабря 1881 года. Так я прожила почти до окончания гимназии, временами на целый год моложе, а потом так привыкла, что уж

---

[49] Ярошенко, Николай Александрович (1846–1898) – передвижник, Куинджи, Архип Иванович (1842–1910), пейзажист и Репин, Илья Ефимович (1844–1930) – близкие друзья Д. И. Менделеева, завсегдатаи менделеевских «сред».

[50] Коновалов, Дмитрий Петрович (1856–1929) – химик, ученик и сотрудник Д. И. Менделеева, заместивший его на кафедре неорганической химии в Петербургском университете, с 1921 – член-корреспондент Академии наук. С 1923 – академик.

и не меняла. Получилась эта путаница из-за того, что ко времени моего рождения формальности по разводу отца с первой женой и по заключению церковного брака с моей матерью были еле-еле окончены. Крестить и записать меня как «законную» дочь было еще нельзя. И я дожидалась «нехристем» законного срока. Благодаря блестящему положений в обществе моего отца все это прошло гладко, и крестили, и «законной» записали[51]. Но когда уже взрослой девушкой, в разгар семейных неурядиц а период смерти старшего брата и претензий семьи Лемохов на объявление всей нашей второй семьи «незаконной»[52], когда я всю эту «неувязку» с моим рождением узнала, мой романтизм она очень тешила. Мне казалось мое положение привилегированным: «дитя любви», даже имя – Любовь – все это вырывало меня из буден, что мне было в ту пору очень ко двору. Но годик-то я с удовольствием скостила.

«Расист» мог бы с удовольствием посмотреть на Блока – он прекрасно воплощал образ светлокудрого, голубоглазого, стройного, героического арийца. Строгости манер, их «военность», прямизна выправки, сдержанная манера одеваться и в то же время большое сознание преимущества своего облика и какая-то приподнятая манера себя вести, себя показывать довершали образ «зигфридоподобия». Александр Александрович очень любил и ценил свою наружность, она была далеко не последняя его «радость жизни». Когда за год

---

[51] Брак Д. И. Менделеева с А. И. Поповой был оформлен 22 апреля 1882.

[52] Старший сын Менделеева, Владимир Дмитриевич, в 1896 женился на Варваре Кирилловне Лемох, дочери известного художника, одного из основателей передвижничества К. В. Лемоха (1841–1910). Конфликт Лемохов и Менделеевых произошел после смерти Владимира Менделеева в 1898 и был вызван попыткой Д. И. Менделеева взять к себе на воспитание годовалого внука.

приблизительно до болезни он начал чуть-чуть сдавать, чуть поредели виски, чуть не так прям, и взгляд не так ярок, он подходил к зеркалу с горечью и не громко, а как-то словно не желая звуком утвердить случившееся, полушутя говорил: «совсем уж не то, в трамвае на меня больше не смотрят»... И было это очень, очень горько.

Мой переход к старости произошел довольно безболезненно, именно благодаря болезни. Разболелось сердце, и иногда ни до чего было, только бы не больно. А когда не болит, посмотришь в зеркало это я от болезни такая ужасная, а вовсе не от старости; и не обидно. Но помогла и судьба. Судьба умеет, когда она милостива, подсунуть тебе напоследок жуликоватого красавчика или не то педераста, не то эфиромана, что благословишь тот день, когда стряхнешь дурман унизительной влюбленности и уж на всю жизнь почувствуешь себя вылеченной. И болезнь и старость кажутся случайными, мне самой (до глубины души) влюбленность отвратительна, это я сама не хочу!

Вот жилье мое и устроено. Оно отражает душу, как и полагается ему. Много кустарщины, самодельщины и незаконченного, но оно не лишено изобретательности, непохоже на обывательское, есть в нем устремление и к будущему, и к Европе – и как слабо это удалось! Но превосходное – радиосвязь. Но ванная комната удобна и тщательно оборудована, как у них. Стены светлы и не ограничивают Пространства. Живет тут портрет Блока больше натуральной, человеческой величины. И образы искусства – не многие, но всегда ловящие глаз.

Из окна, поверх цветов, крыш и труб, вид на небо.

Кресла и кушетки для друзей мягки и отдохновительны.

О том, что женское это жилье, напоминают пестрые подушки и запах духов.

Вот я.

Чтобы понять облик, характер Александра Александровича, будут полезны эти несколько указаний.

У нас с ним была общей основная черта наших организаций, которая сделала возможной и неизбежной нашу совместную жизнь, несмотря на разницу характеров, времяпрепровождения и внешних вкусов.

Мы оба сами создавали свою жизнь, сами вызывали события, имели силы не поддаваться «бытию»; а за ним тем более «быту» – но это мелкая черточка по сравнению с нашей внутренней свободой, вернее, с нашей свободой от внешнего. Потому что мне, особенно, но и Саше, всегда казалось, что мы, напротив, игрушки в руках Рока, ведущего нас определенной дорогой. У меня даже была такая песенка, из какого-то водевиля:

Марионетки мы с тобою
И наши жизни дни не тяжки...

Саша иногда ею забавлялся, а иногда на нее сердился. Вот, проще, некоторые черты.

Я буду говорить о себе, наравне с Сашей, в том случае, когда я считаю, что говорю об общей нашей черте; про себя можно подробнее рассказать внутренний ход событий – а здесь все в том, что «сознание определяло бытие», не во гнев марксистам будь сказано.

Жить рядом с Блоком и не понять пафоса революции, не умалиться перед ней со своими индивидуалистическими претензиями – для этого надо было бы быть вовсе закорене-

лой в косности и вовсе ограничить свои умственные горизонты. К счастью, я все же обладала достаточной свободой мысли и достаточной свободой от обывательского эгоизма. Приехав из Пскова очень «провинциально» настроенной и с очень «провинциальными ужасами» перед всяческой неурядицей, вплоть до неурядиц кухонного порядка, я быстро встряхнулась и нашла в себе мужество вторить тому мощному гимну революции, какой была вся настроенность Блока. Полетело на рынок содержимое моих пяти сундуков актрисьего гардероба! В борьбе за «хлеб насущный» в буквальном смысле слова, так как Блок очень плохо переносил отсутствие именно хлеба, наиболее трудно добываемого в то время продукта. Я не умею долго горевать и органически стремлюсь выпирать из души все тягостное. Если сердце сжималось от ужаса, как перед каким-то концом, когда я выбрала из тщательно подобранной коллекции старинных платков и шалей первый, то следующие упорхнули уже мелкой пташечкой. За ними нитка жемчуга, которую я обожала, и все, и все, и все... Я пишу все это очень нарочно: чем мы не римлянки, приносившие на алтарь отечества свои драгоценности. Только римлянки приносили свои драгоценности выхоленными рабынями руками, а мы и руки свои жертвовали (руки, воспетые поэтом; «чародейную руку твою...»[53]), так как они погрубели и потрескались за чисткой мерзлой картошки и вонючих селедок. Мужество покидало меня только за чисткой этих селедок: их запах, их противную скользкость я совершенно не переносила и заливалась горькими слезами, стоя на коленях, потроша их на толстом слое газет, на полу, у плиты, чтобы скорее потом избавиться от запаха и остатков. А селедки были основой всего меню.

[53] Из стих. Блока «За горами, лесами...».

Помню, в таких же слезах застала я Олечку Глебову–Судейкину за мытьем кухни. Вечером ей надо было танцевать в Привале Комедиантов[54], и она плакала над своими красивыми руками, покрасневшими и распухшими.

Я отдала революции все, что имела, так как должна была добывать средства на то, чтобы Блок мог не голодать, исполняя свою волю и долг – служа октябрьской революции не только работой, но и своим присутствием, своим «приятием».

Совершенно так же отчетливо, как и он, я подтвердила: «да, дезертировать в сытую жизнь, в спокойное существование мы не будем». Я знала, какую тяжесть беру на себя, но я не знала, что тяжесть, падающая на Блока, будет ему не по силам – он был совсем молодым, крепким и даже полным юношеского задора.

Раскаты грома на небесах, разразилась гроза. Раскаты грома внизу, в коридоре: «Закрывайте окна! Закрывайте ставни!»

Так, громовержцем, в грохоте и свисте бури пусть станет впервые образ отца. Такой «божьей грозой» царил он в доме, и нежная его забота о детях громыхала, подобно раскатам грома и оглушительной барабанной дроби летнего ливня по железным крышам наших нескольких крытых террас.

И я всегда была такою. Но только – я щедра. Я щедра не только на деньги, но и на свою душу, даже дух, Я всегда щедро разбрасывала себя, отказываясь от того, что считала ценнейшим и, к сожалению, не только для Блока, но для других – часто первых встречных. И не потому, что не ценила в те минуты себя; нет, из вечно присущей мне брезгливости к

---

[54] Литературно-артистическое кафе в Петрограде (1915–1919), основанное Б. К. Прониным.

мелочности. Дарить себя по мелочам? Нет, дарить щедро, дарить то, что мне представляется драгоценным.

Когда я оглядываюсь, вижу, что в сущности запасы мои были очень велики; фантазии, изобретательности, оригинальности мысли и вкуса было много. Если из этого не вышло то, к чему я всегда стремилась – сценической карьеры, то это по основному недостатку моему; во мне нет упорства в одном направлении. Я не могу сказать, что это лень, нелюбовь к работе – нет, я в сущности очень редко когда не работала и не шла вперед, но все в разных областях. Уменья остановиться и упорствовать в одном направлении – у меня не было всю жизнь. Да и сейчас больше бы вышло, если бы я могла выбрать: бумага и перо или живая связь с театром через преподавание и, может быть, постановки. Я разбрасываюсь.

Вообще брезгливости и преувеличенной чистоплотности во мне было гораздо больше, чем то было нужно для успешного прохождения жизненного пути. Я совершенно была не в состоянии пойти навстречу человеку, которому я нравлюсь, если тут могла получиться для меня корысть. Несколько таких случаев, когда я себе сильно вредила: отказывала режиссеру (между прочим, культурному и даже интересному) в том «внимании», которое ему казалось просто даже его «правом» и, как на зло, у него перед носом бросалась навстречу какому-нибудь забулдыге «Петьке», и многое такое.

Теперь мне кажется идиотичным, что я не использовала положение Блока для достижения своих целей все из той же брезгливости. Правда, и он, как нарочно, ничего не делал, чтобы помочь мне в моем пути и таким образом даже и вредил, так как, конечно, могло вызвать только сильный скептицизм его невмешательство, которое казалось сознательным отстранением вследствие неверия. Но если бы я просила, если бы я объяснила ему, – конечно, он стал бы помогать, это я

знаю наверно. И я еще пуще гордилась и пыталась идти одна. Все, чего я в театре добивалась, я добилась сама, безо всякой посторонней поддержки, наоборот, с большим гандикапом подавляющих имен – отца и мужа.

Вставка

При том жизнь богатую по сравнению с нашей нищетой в условиях широко звучащей дворянской обстановки. Об ней я расскажу в другом месте, и упоминаю о деньгах, лишь примеряя свое поведение на образ мыслей современных девушек или молодых женщин. Не знаю такой, которая бы отказалась от двух-трех десятков тысяч, которые сейчас же хотел реализовать А. Белый, продав уже принадлежащее ему имение.

В те годы на эти деньги можно было объехать весь свет, да и еще после того осталось бы на год-другой удобной жизни. Путешествия были всегда моей страстью, моя буйная жажда жизни плохо укладывалась в пятьдесят рублей, которые давал мне отец. Саша не мог ничего уделять из тех же пятидесяти, получаемых от его отца-тут и университет, и матери на хозяйство и т. д. И тем не менее все это я регистрирую только теперь. В ту пору я не только не взвешивала сравнительную материальную сторону той и другой жизни, она просто вовсе не попадала на весы. Помню, как раз, сидя со мной в моей комнате на маленькое диванчике, Боря в сотый раз доказывал, что наши «братские» отношения (он вечно применял это слово в определении той близости, которая вырастала постепенно сначала из дружбы, потом из его любви ко мне), наши братские отношения – больше моей любви к Саше, что они обязывают меня к решительным поступкам, к переустройству моей жизни и, как доказательство возможности крайних решений, рассказывал свое намерение продать именье, чтобы сразу можно было уехать на край света. Я слышала все, что угодно, но цифра для меня, казалось бы внушительная, не

задела внимания, и я ее пропустила мимо ушей. Во всех этих разговорах я всегда просила Борю подождать, не торопить меня с решением.

Несомненно, вся семья Блока и он были не вполне нормальны – я это поняла слишком поздно, только после смерти их всех. Особенно много ясности принесли мне попавшие мне в руки после смерти Марии Андреевны ее дневники[55] и письма Александры Андреевны. Это все – настоящая патология. Первое мое чувство было из уважения к Саше сжечь письма его матери, как он несомненно сделал бы сам, и раз он хотел, чтобы ее письма к нему были сожжены. Но следующая мысль была другая: нельзя. Это теперь только литературоведческое исследование так эмпирично, так элементарно, довольствуется каким-то пошлым, а через пять, десять, двадцать лет неизбежно прибегнут к точным методам и научной экспертизе и почерков, и психических состояний, и родственных, наследственных элементов во всем этом. Ведь и со стороны Блоков (Лев Александрович), и со стороны Бекетовых (Наталья Александровна), и со стороны Карелиных (Александра Михайловна Марконет и Мария Андреевна Бекетова), – везде подлинное клиническое сумасшествие. Двоюродный брат Александра Александровича – глухонемой. Это только крайние, медицински проверенные проявления их дворянского вырождения и оскудения крови. Но неуравновешенность, крайняя «пограничность» (как говорят психиатры) типов – это их общее свойство. Если все это установить и взвесить по другому отнесешься ко всем их словам и поступ-

---

[55] М. А. Бекетова (1861 – ум. 2 декабря 1938), переводчик, беллетрист, сотрудник детских журналов «Родник», «Всходы», «Новый Робинзон», биограф Блока. Дневники ее хранятся в фонде Блока в рукописном отделе ИРЛИ (Пушкинского дома).

кам. Иначе оценишь трагизм положения Блока среди этой любимой им семьи, но которая так часто заставляла его страдать и от которой он порой так беспомощно и так безнадежно рвался. Не даром мое коренное здоровье было ему такой желанной пристанью отдохновения. Во мне нет никакого намека патологии. Если я порой бывала истерична и повышенно чувствительна – причиной тому то же, что и при всякой истеричности женщины: с самого начала крайне ненормально сложившаяся половая жизнь. А доказательство нормальности натуры – я безболезненно перешла на положение старой женщины, как только пришло то время, без сожалений, без унизительных хватаний за молодость. Мой молодой эгоизм, который я тоже считаю нормальным (он безобразен лишь в старости, а молодость без эгоизма – вероятно тоже скорее близка к патологии) превратился в полное перенесение интересов вне себя, столь же жизнерадостное и горячее, как горяча была моя молодость. Мне не скучно; мне так же увлекательны, как были в молодости увлекательны романы, и научные интересы, и моя работа с моей бесценной ученицей, и ее успехи, и все их театральные дела. И я, будучи в корне далека от полуненормальной психики, не могла не только в молодости, но и в зрелые годы понять Бекетовых. Свойственную ненормальным двойственность я не учитывала. Поступки их не соответствовали словам, и я не понимала корня, возмущалась их фальшью. Не фальшь, а гораздо более глубокий душевный дефект. Например, на словах они все меня захваливали наперебой; «любили» меня все ужасно, но... всегда стремились Сашу «не отдать» мне целиком, боролись с моей стихией здоровья, которую я ему так хотела отдать, куда хотела его увлечь. Что же оказалось в старых дневниках Марьи Андреевны и письмах Александры Андреевны? Нет слов, которыми они не поносили бы меня.

И некрасива-то, и неразвита, и зла, и пошла, и нечестна, «как мать, да и отец» (это у Александры Андреевны)! Вот до чего доводили одну – явно сквозящая зависть, другую – дикая ревность ко мне. Нормально это? Назвать Менделеева нечестным – это можно только с пеной у рта, в припадке сумасшествия. Всей этой подкладки я не знала, конечно, и от Саши она тщательно скрывалась («Люба удивительная, Люба мудрая, Люба единственная» – вот что для его ушей).

Но во всем общении где-то кипела эта скрытая ненависть. Я чутка и восприимчива подсознательно очень; как-то это все мне передавалось ведь? И вовлекало в водоворот выкриков, протестов, ссор. Между прочим, могу сказать с полной ответственностью, что я никогда не «лезла на рожон». Всегда Александра Андреевна врывалась в мою жизнь и вызывала на эксцессы. Бестактность ее не имела границ и с первых же шагов общей жизни прямо поставила меня на дыбы от возмущения. Например: я рассказала первый год моего невеселого супружества. И вдруг в комнату ко мне влетает Александра Андреевна: «Люба, ты беременна!» «Нет, я не беременна!» – «Зачем ты скрываешь, я отдавала в стирку твое белье, ты беременна!» (сапогами прямо в душу очень молодой, даже не женщины, а девушки.) Люба, конечно, начинает дерзить: «Ну, что же, это только значит, что женщины в мое время более чистоплотны и не так неряшливы, как в ваше. Но мне кажется, что мое грязное белье вовсе не интересная тема для разговора». Поехало! Обидела, нагрубила и т. д. и т. д.

Или во время нашего злосчастного житья вместе в трудный 1920 год. Я в кухне, готовлю, страшно торопясь, обед, прибежав пешком из Народного дома с репетиции и по дороге захватив паек эдак пуда в полтора-два, который принесла на спине с улицы Халтурина. Чищу селедки – занятие, от которого чуть не плачу, так я ненавижу и запах их и тошнотворную скользкость. Входит Александра Андреевна. «Люба,

я хочу у деточки убрать где щетка?» – «В углу на месте». «Да, вот она. Ох, какая грязная, пыльная тряпка, у тебя нет чище?» У Любы уже все кипит от этой «помощи». «Нет, Матреша принесет вечером». – «Ужас, ужас! Ты, Люба, слышишь, как от ведра пахнет?» – «Слышу». – «Надо было его вынести». – «Я не успела». – «Ну, да! Все твои репетиции, все театр, дома тебе некогда». Трах-та-ра-рах! Любино терпенье лопнуло, она грубо выпроваживает свою свекровушку, и в результате – жалобы Саше – «обидела, Люба меня ненавидит...» и т. д.

Если бы знать, если бы понимать, что имеешь дело с почти сумасшедшей, во всяком случае, с почти невменяемой, можно было бы просто пропустить все мимо ушей и смотреть как на пустое место. Но Саша принимал свою мать всерьез, и я за ним тоже. Насколько это было ошибочно, покажут будущему внимательному исследователю ее письма. Горя эта ошибка принесла и Саше, и мне очень много. И для меня большое облегчение, что я могу сложить с себя обязанность судить этот восемнадцатилетний спор между нами тремя. Я предпочитаю передать его ученикам Фрейда.

24.IX.1921

[...]

17 мая, во вторник, когда я пришла откуда-то, он лежал на кушетке в комнате Ал. А., позвал меня и сказал, что у него, вероятно, жар; смерили оказалось 37,6; уложили его в постель; вечером был доктор. Ломило все тело, особенно руки и ноги – что у него было всю зиму. Ночью был плохой сон, испарина, нет чувства отдыха утром, тяжелые кошмары – это его особенно мучило. Вообще состояние его «психики» – мне казалось сразу ненормальным; я указывала на это доктору Пекелису – он соглашался, хотя уловить явных нарушений было нельзя. Когда мы говорили с ним об этом, мы так фор-

мулировали в конце концов: всегдашнее Сашино «нормальное» состояние – уже представляет громадное отклонение для простого человека, и в том – была бы уже «болезнь», его смены настроения – от детского, беззаветного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротивление, никогда, ничему плохому, вспышки раздражения, с битьем мебели и посуды (после них, прежде, он как-то испуганно начинал плакать, хватался за голову, говорил «что же это со мною? Ты же видишь!» – в такие минуты, как бы он ни обидел меня перед этим, он сейчас же становился ребенком для меня, я испытывала ужас, что только что говорила с ним, как со взрослым, ждала и требовала, сердце разрывалось на части, я бросалась к нему, и он так же по-детски быстро поддавался успокаивающим, защищающим рукам, ласкам, словам – и мы скоро опять становились «товарищи»). Так вот теперь, когда все эти проявления болезненно усилились – они составляли только продолжение здорового состояния – и в Саше не вызывали, не сопровождались какими-нибудь клиническими признаками ненормальности. Но будь они у простого человека – наверно, производили бы картину настоящей душевной болезни.

Мрачность, пессимизм, нежелание, глубокое – улучшения, – и страшная раздражительность, отвращение ко всему, к стенам, картинам, вещам, ко мне. Раз как-то утром, он встал и не ложился опять, сидел в кресле у круглого столика около печки. Я уговаривала его опять лечь, говорила, что ноги отекут – он страшно раздражался с ужасом и слезами: «Да что ты с пустяками! что моги, когда мне сны страшные снятся, видения страшные, если начинаю засыпать...», при этом он хватал со стола и бросал на пол все, что там было, в том числе большую голубую кустарную вазу, которую я ему подарила и которую он прежде любил, и свое маленькое карманное зеркало, в которое он всегда смотрелся, и когда брился, и когда

на ночь мазал губы помадой или лицо борным вазелином. Зеркало разбилось вдребезги. Это было еще в мае; я не смогла выгнать из сердца ужас, который так и остался, притаившись на дне, от этого им самим, нарочно разбитого зеркала. Я про него никому не сказала, сама тщательно все вымела и выбросила.

Вообще у него в начале болезни была страшная потребность бить и ломать: несколько стульев, посуду, а раз утром, опять-таки, он ходил, ходил по квартире, в раздражении, потом вошел из передней в свою комнату, закрыл за собой дверь, и сейчас же раздались удары и что-то шумно посыпалось. Я вошла, боясь, что он себе принесет какой-нибудь вред; но он уже кончил разбивать кочергой стоявшего на шкалу Аполлона. Это битье его успокоило, и на мое восклицание удивления, не очень одобрительное, он спокойно отвечал: «А я хотел посмотреть, на сколько кусков распадется эта грязная рожа». Большое облегчение ему было, когда /уже позже, в конце июня/ мы сняли все картины, все рамки, и все купил и унес Василевский[56]. Притом – мебель – часть уносилась, часть разбивалась для плиты.

29 г.

Трепетная нежность наших отношений никак не укладывалась в обыденные, человеческие: брат – сестра, отец – дочь... Нет!.. Больнее, нежнее, невозможней... И у нас сразу же, с первого года нашей общей жизни, началась какая-то игра, мы для наших чувств нашли «маски», окружили себя выдуманными, но совсем живыми для нас существами, наш язык стал совсем условный. Так что «конкретно» сказать совсем невозможно, это совершенно воспринимаемое для третьего че-

---

[56] Василевский, Лев Маркович (1876–1936) – литератор, театральный критик.

ловека; как отдаленное отражение этого мира в стихах – и все твари лесные, и все детское, и крабы, и осел в «Соловьином саду». И потому, что бы ни случилось с нами, как бы ни теряла жизнь, – у нас всегда был выход в этот мир, где мы были незыблемо неразлучны, верны и чисты. В нем нам всегда было легко и надежно, если мы даже и плакали порой о земных наших бедах.

Когда Саша заболел, он не смог больше уходить туда. Еще в середине мая он нарисовал карикатуру на себя – оттуда – это было последнее. Болезнь отняла у него и этот отдых. Только за неделю до смерти, очнувшись от забытья, он вдруг спросил на нашем языке, отчего я вся в слезах – последняя нежность.

1929 г.

Литературно-художественное издание

Любовь Дмитриевна Блок

И быль и небылицы о Блоке и о себе

Воспоминания

12+

Ответственный редактор *Л. Сурис*
Верстальщик *Е. Романова*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru